

Николай Семченко

Соглядамай, или Красный таракан

Фантастический роман



Николай Семченко

Соглядатай, или Красный таракан

«Издательские решения»

2014

Семченко Н. В.

Соглядатай, или Красный таракан / Н. В. Семченко —
«Издательские решения», 2014

«А я не хочу ходить по кругу. И все-таки хожу... И затаиваюсь в собственном теле, как в укрытии, – и ничего мне не страшно, я освобождаюсь от особых примет, становлюсь как все и не позволяю себе никаких вольностей, и даже моя улыбка – не моя...» Герой фантастического романа Николая Семченко попадает в странную историю, его ждут невероятные приключения, и в конце концов он поймёт о жизни нечто очень важное. Такое, что вам и не снилось!

© Семченко Н. В., 2014

© Издательские решения, 2014

Содержание

Соглядатай, или Красный таракан	6
Из тетрадей Марии Платоновны, озаглавленных ею «Вертуты судьбы»	24
Из тетрадей Марии Платоновны	40
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Соглядатай, или Красный таракан

Фантастический роман

Николай Семченко

© Николай Семченко, 2014

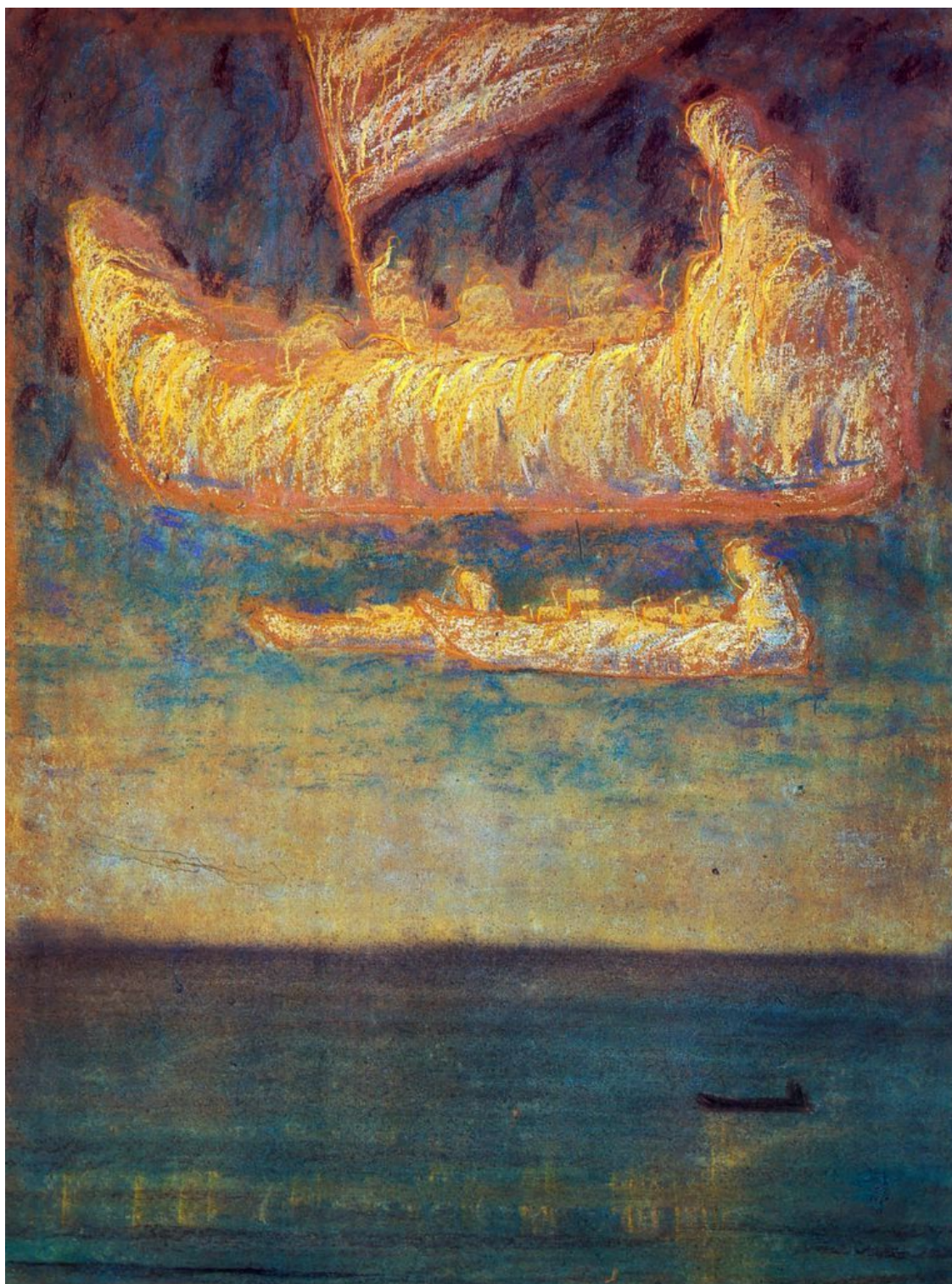
© Микалоюс Константинас Чюрлёнис, иллюстрации, 2014

Редактор Николай Мезенцев

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Соглядатай, или Красный таракан

*Посвящается моей бабушке
Марии Степановне Двойниковой —
с любовью и вечной благодарностью*



М. Чюрлёнис, «Лодка».

.... тащу я грядущее за собой
Ф. Ницше, «Песни Заратустры»

«Молодой человек 25-ти лет, приятной внешности, не склонный к злоупотреблению спиртным (но, к сожалению, курящий), без каких-либо предрассудков, с удовольствием рассматривает любое предложение от одинокого мужчины на совместное проживание. Обращаться письменно: главпочтамт, до востребования, предъявителю документа №...»

Объявление, внешне ничем не отличающееся от прочих, приклепленных и приклеенных на зелёном заборе у автобусной остановки, – бумага в клеточку, четкие печатные буквы, «язычки» с адресом, – вызывало интерес у граждан, притомившихся в ожидании транспорта. Может быть, ещё и потому, что кто-то начертил наискосок красным фломастером: «Козёл!»

– И в самом деле, – кашлянул стоявший рядом с Сергеем высокий худощавый мужчина в бледно-голубых джинсах, – странное объявление, вы не находите?

– Не нахожу, – ответил Сергей. – Каждый сходит с ума по-своему...

– Но согласитесь, довольно странно: парень хочет снять, как я понял, квартиру, и непременно у одинокого мужчины...

– По-вашему, если бы он хотел её снять у молодой вдовушки, это было бы гораздо естественней?

Джинсовый мужик даже опешил от такого вопроса, но всё же сказал:

– Конечно! Но, впрочем, порядочный человек не будет открыто выражать подобные устремления...

Сергей с неприязнью подумал, что вот прицепился же к нему этот стареющий хрен, и смотрит как-то пристально (может, близорукий?), и языком цокает, и газетой «Слово», свёрнутой трубочкой, как указкой, в объявление тычет:

– Да тут всё ясно: извращенец! Разве вам это непонятно, Сергей Николаевич?

– Мы знакомы? – удивился Сергей. – Извините, не припомню...

– Понимаю, что всех пациентов запомнить сложно, – отозвался мужчина. – Тем более, если они, так сказать, разовые...

– Значит, вы бывали в нашей консультации? Никак не могу вспомнить...

– А что припоминать? Помочь не помогли, но советы – спасибо! – дали неплохие...

Сергей улыбнулся, развёл руками:

– Значит, у вас и вправду всё хорошо. Обычно за первым визитом следует и второй, и третий, и Бог знает, какой ещё по счёту – верный признак: человек никак не может разобраться в своих проблемах. А как отпадёт нужда в консультациях, он при случайных встречах на улице будет делать вид, что с доктором совсем не знаком

Собеседник неожиданно звонко рассмеялся:

– Ах, Сергей Николаевич, про то, как отпадает нужда есть совершенно замечательный анекдот...»

Боже мой, какую пошлость я пишу, и зачем всё это, зачем? Выдуманные рассказы о выдуманных людях, и все ситуации, и диалоги, и каждое слово – ложь, ложь и ложь! А впрочем, нет. Сергей Николаевич выдуман наполовину: это мои имя, отчество, а вот насчёт профессии (*Сексолог? Психотерапевт? Пожалуй, сексолог. Моим рассказам нужен такой герой*), – так вот, насчёт профессии – чистая выдумка, на самом деле я художник.

Поставил точку, да? Но хотя бы самому себе скажи: да, я – художник, может быть, самый замечательный художник, мастер, мэтр, самородок, но числишься-то ты, Серёжа, пока как оформитель. Художник-оформитель кинотеатра «Юбилейный». Это, конечно, не звучит и абсолютно не впечатляет (афиши любой мазилы намалюет, и не обязательно для того заканчивать художественно-графический факультет), но, понимаете ли, я живу в такой стране, где пока, увы, где-то нужно числиться, чтобы получать хоть какие-то гроши – для пропитания, ибо

одним искусством не проживёшь, пока ты не принят в творческий союз, а уж перед его членским билетом многие двери будут тебе раскрыты, и выставки обеспечены, и расценки на твои поделки в магазине Худфонда возрастут, и заведёшь ты наконец-то настоящую мастерскую...

Ничего у меня пока нет (пока – не навсегда ли?), и я – свободный мужчина в не совсем свободной стране.

И снова – ложь. Господи, если Ты есть, прости меня великодушно: Ты видишь всё, и всё понимаешь, и не можешь не знать, что некоторое преувеличение того, чем на самом деле обладаю, – это в крови моей, и, может быть, примета времени.

Не умею писать. Хочу – и не могу. Нет, не верно: могу, но не так, как надо. А кому надо? И надо ли вообще? И почему каждое слово хочу уточнить, расшифровать, объяснить? Может, я – скучный зануда? Или это от желания сказать правду, не солгать?

Ко лжи я привык (да, привык!) чуть ли не с пелёнок. Едва выучив буквы и желая показать родителям свою образованность, помню, читал им вслух всё подряд – от вывесок на магазинах до непонятных по значению слов на каком-нибудь заборе. Но ничто так меня не поразило, как огромное красное полотнище, протянутое над улицей и извещавшее: «Нынешнее поколение молодых советских людей будет жить при коммунизме».

– А что это такое – коммунизм? – спросил у отца.

– Не знаю, – простодушно ответил он. – Говорят, что когда-нибудь можно будет зайти в магазин и взять всё, что захочешь, совершенно бесплатно. И работать столько, сколько пожелаешь – по своей потребности...

– И деньги будут совсем не нужны? – спросил я. – Неужели всего на всех хватит?

– Выходит, что хватит, – кивнул отец и печально улыбнулся. – А деньги... Эх, из-за них столько зла творится!

Он получал семьсот пятьдесят рублей (старыми, конечно; потом нули отбросили – получилось 75 рублей), и денег у нас всегда не хватало.

Чтобы в магазинах быстрее появилось всё, чего душа пожелает, кое-что, видно, решили накопить на складах, а может, не на складах – не знаю, где, но многие продукты исчезли. Я решил, что изобилие можно создать примерно так, как это делалось в нашей семье: задолго до какого-нибудь праздника мама начинала создавать НЗ – неприкосновенный запас. В чулане под него была отведена верхняя полка, куда ставили тушёнку, сгущёнку, рыбные консервы, крупы, а морозилка холодильника забивалась пельменями, которые вечерами мы лепили всем семейством. Но вот что мама никогда не запасала впрок, так это хлеб. Нет, сухари она, конечно, сушила: не выбрасывать же зачерствевшие горбушки на помойку!

А тут в магазинах вдруг стали продавать меньше хлеба. Очередь за ним в нашем небольшом посёлке занимали с раннего утра. Надо было непременно запомнить хотя бы с десятков впереди стоящих и с пяток тех, кто позади. А то вдруг придётся, извините, отлучиться в то место, куда и царь пешком ходил – вернёшься, облегчившись, глядь: все незнакомые, какие-то серые и одинаковые – пока найдёшь, где стоял, от переживаний с тебя сто потов сойдёт.

Со временем я понял, что, отправляясь в очередь, надо одевать что-нибудь такое, чтобы непременно в ней выделиться – тогда тебя уж точно выделят и не забудут. Для таких случаев я надевал пёструю куртку, на спинку которой мама пришила оригинальную аппликацию – бархатное красное сердечко.

Ту очередь за хлебом мы занимали вместе с бабкой. Она зорко примечала тех, кто стоял перед нами, перебрасывалась со знакомыми репликами, обсуждала новости. Ну, примерно такие:

– Слыхала, Платоновна, что в женские трусы вшивают рак?

– Чего? – не понимала бабка.

– Завелись, говорю, враги. Учёные, между прочим, люди. Выдумали порошок, от которого у женщины получается рак. Болезнь такая. Вшивают его в трусы на биробиджанской фабрике...

– Да как можно-то? – удивлялась бабка. – Там, поди-ко, контроль, всё проверяют...

– Вот и проверили! Выяснили: вредители завелись. Они и хлеб придерживают.

– Опять вредители? А говорили, что их Берия выдумал: ему, мол, нужен был предлог, чтобы уничтожить лучших партийцев...

– И-и-и, милая! Вредители у советской власти всегда были.

Бабка опасливо опускала руки ниже пояса, украдкой ощупывая себя: не завёлся ли уже рак?

Её собеседница – рыжеволосая бабёнка лет тридцати, напудренная, с чёрными полосками бровей и яркими оранжевыми губами – шепнула:

– Ты бы Ленке-то сказала про это дело. Уж лучше без трусов ходить, чем такую опасность от них принимать...

Бабка, может, ещё и постояла бы со мной – всё равно пастух пригонит коров на дневную дойку не скоро, дом убран, обед сварен, в общем, торопиться некуда, но коли прилетела такая новость, то как её сразу же не сообщить Ленке – матери моей, значит.

Ленка, Ирка, Полинка... Почему-то в нашем посёлке иначе как такими уменьшительно-пренебрежительными именами женщины друг друга и не звали.

Наказав мне стоять в очереди и никуда не убегать, бабка ушла домой. А я только этого и ждал – тут же находил других пацанов, ошалевших от зноя и добропорядочной смиренности. Обычно мы забирались в какой-нибудь тенистый уголок и вытаскивали перочинные ножики. На земле чертился круг, кидались ножички, отрезались «наделы», проигрывались целые состояния – накопленные серебрушки и медяки, фантики от конфет и шоколадок, значки и марки – у кого что было. В азарте мы и не замечали, как чья-нибудь мамка или бабка тихонько подошла к нам сзади и, подбоченясь, взвизгивала:

– Ах, паразиты! Охломоны несчастные! Из-за вас очередь поперепуталась, битый час разобраться не можем! Ишь, бездельники, играть удумали...

Под этот аккомпанемент, подгоняемые страхом, что и собственные мамки, наверное, уже давно выглядывают каждого из нас у магазина и в его окрестностях, мы бежали, пожалуй, побыстрей лермонтовского Гаруна.

Получив по подзатыльнику-другому, мы кое-как восстанавливали очередность, при этом, правда, случалось слышать вечное российское:

– Вас тут не стояло!

Но пацаны поднимали такой гвалт, приводили такую массу несокрушимых доказательств, что хитрец, осмелившийся пойти против нас, чтобы хоть на немножко оказаться впереди, обычно бывал сильно посрамлен. Тем более, что и родительницы наши, деятельно выясняя истину, не оставались безучастными. Но гомон очереди как по команде стихал, стоило кому-то завидеть продавщицу.

– Идёт! – сообщал самый глазастый. – Вон там, за деревьями. Не видите, что ли?

Шура-продавщица шла не спеша, с достоинством переваливаясь на коротких ножках. Одета даже в самый жаркий день в прорезиненный плащ (это был писк поселковой моды!), она смахивала носовым платочком бисеринки пота со лба, носа, шеи и то и дело останавливалась, чтобы перевести дух. При этом, похоже, Шура-продавщица делала вид, что толпы у входа в свой магазин как бы и не видит, и чем ближе она подходила к нам, тем более неприступным и серьёзным становилось её лицо.

– Доброго здоровьица, Шура!

– Умаялась, кормилица наша...

– Здравствуй, тетя Александра!

На все приветствия, сочувствия, знаки внимания продавщица отвечала суровыми кивками и пофыркиваниями в носовой платок. Очередь расступалась, пропуская её к крыльцу. Шура останавливалась и внимательно, капризно прищуриваясь, его осматривала, и не дай Бог если где-нибудь в щели обнаруживала подсолнечную скорлупку или конфетную обёртку – тут же взвизывалась орлицей:

– В антисанитарных условиях магазин функционировать не будет!

Шура была, говорят, интеллигентная женщина, и в нашем посёлке оказалась не по своей воле: получила в Ленинграде звание «враг народа», но, чудом избежав расстрела, оказалась на лесоповале, откуда и была освобождена только в 1953-м году, после смерти великого вождя и учителя товарища Сталина Иосифа Виссарионовича.

За что сидела, Шура не рассказывала. Но вот о том, что когда-то жила на берегах Невы и была отнюдь не душой, даже в гимназии училась, она при случае поминала. Любила Шура и всякие заковыристые, «интеллигентные» слова, которые у нас мало кто понимал. Говорят, когда она объявилась в посёлке и впервые пришла в баню, то оконфузилась. «Пожалуйста, дайте билет на одно лицо», – попросила Шура кассиршу. Та, женщина тёмная и грубая, удивилась: «Как это на одно лицо? А задницу мыть не будешь?»

Потом, кстати, я это слышал уже как анекдот.

И вот эта интеллигентная Шура терпеть не могла у своего магазина всякую лузгу и мусор. Очередь, помня о том, зорко следила за чистотой, пресекая малейшее посягательство на стерильность магазинного крылечка. Для его подметания тётя Феня Шароватова бескорыстно связала широкий веник из берёзовых веток.

И если Шура удовлетворялась осмотром, то начиналась вторая часть ритуала. Она брала в руки амбарный замок, навешанный на двери, и проверяла, не порвана ли бечёвка, которой замок был опутан – концы веревочки покоились на косяке под кругляшом пластилина с оттиснутой на нем печатью, напоминавшей герб на пятаке.

При осмотре пластилиновой «охранки», насколько помню, ничего подозрительного Шура обычно не обнаруживала. с тяжелым вздохом открывала дверь в серое нутро магазина, пахнущее экзотической смесью ванилина и мышей, залежалого сала и склизкой селёдки, разваливающейся в руках на две половинки: её жёлтый скелетик напоминал высохший лист папоротника. Когда-нибудь я напишу такой натюрморт: на расстеленной газете, чуть смятой и затёртой от ношения в нагрудном кармане (как же, «Правда» с Отчётным докладом Хрущёва на XXI съезде партии! Это нужно изучать, зубрить, впитывать в себя каждое слово, да что там слово – каждую запятую и точку, и запоминать все эти бесчисленные ремарки про аплодисменты и возгласы одобрения!), так вот, на этой газете (обязательно чтобы был виден заголовок «Нас партия в будущее ведёт» – это нужно выписать как бы чуть-чуть в дымке, как воспоминание о добром детском сне, как память о несбывшейся мечте и надежде – волнующе, и не очень чётко, так, чтобы казалось: бумага как будто тает, растекается по рыжей клеёнке), и на этой, значит, странице лежит хребтина селёдки, несколько серых чешуек налипли на бумагу и на буханку хлеба, тоже серого цвета (нет, пожалуй, не серого, а оттенка бледного рахитичного лица ребёнка – это словами не передать, это можно только изобразить!), и чтобы этот хлеб непременно был узкой, продолговатой формы, и на нём – тоже селёдочная чешуя, а сбоку – нарезанная кружочками головка лука (выписать каждый прожилочек и бледно-голубоватый оттенок колец!).

Мой отец, наизучавшись материалов съезда в кружке политобразования, расстелил «Правду» на дощатом столе гаража, где работал, и я, белоголовый пацан, поставил на газету бутылку с тёплым чаем керосинового цвета, выложил из сумки буханку хлеба, селёдку и лук. Натюрморт и придумывать не надо – он так и стоит перед глазами, тот, вправдашний. Только вот бутылку с горлышком, заткнутым плотно свёрнутым клочком бумаги, я, пожалуй, изображу чуть иначе: пусть в ней мерцает нечто слабо-оранжевое, тёплое и нежное – это, может

быть, тот фруктовый чай, который любил папа. Теперь этот напиток напрочь забыт, и каждому не объяснишь, что в шестидесятых годах в стеклянных витринах магазинов высились пирамиды, сложенные из ароматных коричневых брикетов. Из них и готовился напиток, пахнувший душистым крымским яблоком, а сделаешь глоточек – почувствуешь вкус терпкой вишневой косточки или благородной груши сорта «Дюшес», и, по-моему, в этот чай добавляли ещё листья смородины и малины – во всяком случае, если этого не делали на фабрике, то уж бабушка-то наверняка их подмешивала сама: она верила в волшебство трав, хорошо их знала и сушила великое множество всяких корешков, стебельков, листьев, плодов, цветов, и всё это раскладывалось в холщовые мешочки или бумажные пакетики, и на каждом – старательно выведенные надписи и особые бабушкины пометки.

Бабушка любила порядок, и тут у неё был свой бзик: всё должно стоять на раз и навсегда отведённом месте, поэтому свою убогую скрипучую мебель она ни разу не переставила, и в нарядах была тоже строга и однолюбива: платье на каждый день у неё было, как мне казалось, всего одно – простое, с короткими рукавами, фон – чуть жёлтоватый, на нём – мелкие скромные букетики голубых цветов; она носила это платье и год, и два, и три – каждый день! Неужели никогда не стирала? Но почему же тогда оно не бывало грязным, и не въедался в него пот, и не пахло от него пылью, плесенью и старостью?

Однажды я увидел, что на бабушкином сундуке, где она держала свои вещи, нет замка, и этим обстоятельством не мог не воспользоваться: где-то в его недрах лежала лимонно-жёлтая коробочка из-под разноцветных монпансье, а в ней – я это точно знал, потому что бабуля сама обмолвилась – хранилось несколько настоящих серебряных монет. Серебро нужно было мне для грузила. Очень я тогда увлекался рыбалкой!

Коробочку из-под монпансье я не нашёл, зато обнаружил целых три платья – абсолютные «двойняшки» того, которое бабуля носила, не снимая. Вот оно что! Она всё-таки меняла свой наряд, но поскольку все платья были одного фасона и цвета, то казалось: ходит моя вечная бабуля в одном и том же вечном платьишке.

Но, кажется, я отклонился куда-то в сторону. Так вот, бабушка любила порядок, и потому каждый пакет с какой-нибудь крупой, купленной у Шуры-продавщицы, обязательно надписывала, допустим, так: «Крупа перловая. 12 июня 1961 года».

Дата покупки обозначалась обязательно, это на тот случай, чтобы не перепутать очередность использования продуктов. Зачем вперёд съедать то, что было куплено позднее?

Когда подходила наша с бабушкой очередь к прилавку, Шура-продавщица привычно спрашивала:

– Сколько, Платоновна, селёдок завешать?

– Да, пожалуй, три. Или ты тоже будешь? – бабка оборачивалась ко мне. Но я терпеть не мог эту ржавую селёдку, вонявшую перепревшими водорослями, и потому отрицательно крутил головой:

– Не-е. Лучше орешков возьми.

С Китаем мы тогда вовсе дружили, пели песню «Москва – Пекин», и арахис продавался везде, где только можно – совсем как сейчас. Стоил он сущие копейки. Как, впрочем, и красная икра, и кета, и горбуша, и всякая белорыбица в нашем сельповском магазине тоже не переводились, и тоже, наверное, были недороги – во всяком случае, мы ели этого добра, что называется, от пуза, а лососевую икру мама даже чуть ли не силком впихивала в меня ложками: без сливочного масла она казалась противной, и к тому же пахла рыбьим жиром, фу-у-у! Но покупали её, как я позднее понял, не в магазине, а у рыбаков из соседнего рыболовецкого колхоза – за бутылку водки, мешок картошки, бидон молока, в общем, что было, то и несли им. Получался, так сказать, натуральный обмен, и обе стороны были довольны. Но не дай Бог, чтобы на этом застучала милиция! И продавцы, и покупатели вполне могли получить нешуточный срок. Так что всё держалось в строжайшей тайне, и даже собственным детям родители обычно

не говорили, откуда на обеденном столе появились речные деликатесы: ребятишки по малолетству могли проболтаться, а какой-нибудь доброжелатель по имени Зоркий Глаз, услышав откровения отроков, тут же строчил донос куда следует. Время было такое, Господи...

– Головы горбуши есть? – спрашивала бабушка, и Шура, заглянув в серую бочку, опоясанную железными обручами, разводила, бывало, руками:

– Маленькие, Платоновна, остались. Будто селёдочные. Завтра приходи. Обещают завезти...

– Ничего, взвесь какие есть. С картошкой за милую душу съедим!

В горбушье голове вкуснее всего, на мой взгляд, щёчки и нежный, розовый хрящик – с рассыпчатой белоснежной картошкой нет ничего лучше, ей – Богу, а если она ещё посыпана пушистыми ёлочками укропа и зеленым луком, сдобрена подсолнечным маслом – вообще объеденье!

Потребности в еде, не такие и великие, мы тогда удовлетворяли просто: был у нас сад, огород, бегали по двору цыплята, хрюкал в загородке Билька (всем хрякам, какие у нас были, бабушка почему-то давала только такое имя!), блеяли две козы – Розка и Мадам (стройненькая такая козочка, но со строптивым характером: если упрётся, то, как осла, ни за что с места не сдвинешь), а ещё мы держали крутобокую, меланхоличную корову Зорьку, десяток гусей, несколько уток и кроликов, которые плодились невероятно быстро. И всю эту живность, а заодно и нас, охранял Рэкс – пёс беспородный, но голосистый: ночью гавкнет – полсела в испуге с коек вскакивает!

В одежде потребности, кажется, тоже были скромными. Мне шили на лето шаровары из чёрного сатина, но я их берёг на выход в кино или гости, обходился трусами до колен и майкой. Мужики тоже щеголяли в шароварах; верхом изящества были брюки-галифе и белая рубашка. Более состоятельные граждане наряжались в пижамы и прогуливались в них возле своих домов. Иметь полосатые брюки и такую же курточку считалось признаком достатка и некоторого шарма. Похоже, никто из обладателей пижам и не догадывался, что в них не променады совершают.

Наши потребности были скромны, и трудно было даже представить, что нужно что-то ещё, кроме простой еды и необходимой одежды. И всё-таки магазин светлого будущего рисовался в моём воображении как неисчерпаемая кладовая с конфетами, игрушками, пряниками и патефонами самых разных марок.

У нас патефон был старенький, игла то и дело соскальзывала с дорожки и портила пластинки. О, Рио-Рита! И – «Утомлённое солнце тихо с морем прощалось...» И – «Нет, не любил он...» Боже, Боже, как грустно на сердце, и как прекрасны песни моего детства.

Патефон, правда, вскоре сменила радиоло. Кажется, она называлась «Сакта» и была латвийского производства. Однажды я слушал на ней «Рио-Риту», и раз, и два, и пять, и десять крутил пластинку, а потом – бемц! – приподнятая крышка, казалось, надёжно закреплённая, хлопнулась на головку звукоснимателя и – вжииик, кр-ра-а-а-ах! – от пластинки отлетел целый кусок.

Горе моё было велико. И не столько от того, что родители зададут трёпку – ладно, это ещё можно пережить, – сколько от того, что «Рио-Риту» просто невозможно было нигде достать, разве что у барыг на барахолке.

Это случилось года за два до того дня, когда я самостоятельно прочитал на транспаранте извещение: «Нынешнее поколение молодых советских людей будет жить при коммунизме!» Но даже в этом прекрасном будущем, заманчиво-розовом и туманно-золотистом, как июльское росное утро, я почему-то не мог себе представить такого универсама, где на прилавках спокойно лежали бы пластинки с «Рио-Ритой», вот не мог – и всё тут!

И вообще, думал я, разве может быть так, чтобы ты, во-первых, увидел тьму всяких полезных вещей и сколько угодно вкусной и сытной еды, а во-вторых, имел право всего этого

взять столько, сколько захочешь, и если даже возьмёшь больше, чем надо, то изобилие от этого всё равно не уменьшится – разве такое бывает? Нет, слушайте, я не маленький, чтоб поверить в эти сказки! Уж хоть бы селёдка не переводилась и был бы белый хлеб – мягкий, ноздреватый и, когда надавливаешь на него пальцем, то он упруго спружинивает, чтобы, как только уберёшь руку, распрямиться тёплым нутром.

Буханка белого хлеба с хорошо пропеченной, почти шоколадного цвета корочкой, хрустящей и необыкновенно вкусной, и нынче – любимое моё лакомство. Отщипываешь от ломтя кусочек за кусочком, запиваешь холодным молоком, которое для шику можно закрасить соком свежей клубники или малиновым сиропом, – и такое блаженство ощущаешь, как в далёком-далёком детстве, когда, намазавшись под горячим солнцем на прополке очередной грядки, бухаешься в тенечек и бабушка, улыбаясь, протягивает тебе миску виктории, и ты, растягивая удовольствие и оттягивая момент своего возвращения в стан врагов-сорняков, смакуешь ягоду за ягодкой, и отщипываешь от буханки рыхлые кусочки хлеба...

Когда я рассказываю об этом Юре, своему... не знаю, как поточнее написать: приятелю, другу, знакомому? Нет, он мне не то чтобы друг, хотя, конечно, – самый лучший, но больше, чем друг; он мне как брат.

С Юрой мы видимся не так часто, как хотелось бы. В отличие от меня, холостяка, он в вечных хлопотах: то халтуру гонит (записывается в литературных передачах радио, проводит разные детские утренники, вечера отдыха для тех, кому за тридцать и т. д. и т. п.), то Алла, жена его, в очередной командировке и, значит, все заботы о пятилетнем Антоне перекладываются на надёжные плечи мужа, то в театре – репетиции, прогоны, читки вслух, занятия по мастерству, ох! И когда он, замотанный, усталый, нервно-вспыльчивый, приползает в мою конуру, чтобы переброситься хотя бы парой фраз о житье-бытье, я просто не знаю, как удержать в себе ту шемящую, почти болезненную нежность, которая обжигает грудь и горлань, и которая доставляет – поймёте ли вы это? – неизъяснимое удовольствие, переходящее в блаженство, когда Юра вдруг засмеётся и скажет: «А знаешь, старик, ты единственный человек, которому я могу рассказать о себе абсолютно всё, даже самое гадкое. А почему – и сам не знаю».

И я тоже этого не знаю. Но и у меня от него нет никаких тайн.

– Юра, кофе хочешь?

– А какой-нибудь бутерброд сварганишь? Я голоден как верующий накануне Пасхи...

– Сыр есть. И колбаса. Так себе, но зато полукопчённая...

– О, я это съем с утробным урчанием! Слушай, я сполоснусь? Духота, млин!

Он скрывается в ванной, которая сразу же наполняется полифонией звуков: визжит кран с горячей водой (надо бы прокладку заменить, да всё руки не доходят... хм, а может, они у меня просто растут не оттуда?!), шумит дождик душа, Юра фыркает и ухает от блаженства (Боже, какая сегодня жара!), что-то напевает и насвистывает.

Мне хочется, чтобы это продолжалось как можно дольше. Мне опостытели тишина, одиночество и вот эта нахальная сизая муха (никак не удаётся её прихлопнуть – какая верткая, падла!). Она составляет мне верную компанию вот уже который день, и, пожалуй, я к ней даже привык.

Юра выключил воду и, обмотав полотенце вокруг бедер, вышел из ванной, будто на сцену ступил. Он прошествовал через всю комнату и присел на край дивана. Похожий на сухопарого египтянина с фресок фараоновых пирамид – треугольник плеч, тонкая талия, длинные ноги, – он, вероятно, уже давно понял, что я хочу написать его похожим на светлого бога Ра. Вот именно: похожим!

Это должен быть нормальный земной мужчина, пусть даже останется на портрете вот этот шрам на левой щеке (не стоит, Юра, гулять с чужой девушкой – тогда и драки той не случилось бы!), но в лице и повадках пусть проступает нечто тайное, освещенное изнутри живо-

творящей энергией, и пусть глаза, обращенные на зрителя, возьмут в полон (неважно, кто вы – мужчина или женщина, какая разница, если красота – одна на всех!). О, солнцеподобный Ра!

Бутерброды он, правда, ест совсем не божественно: откусывает большими кусками, крошит хлеб, то и дело роняет на пол зелёные листья петрушки и укропа, без которых я и сам летом ничего не ем, и к которым приучил всех своих приятелей.

– Ты и сегодня не покажешь мне свою работу?

– Юра, всему своё время. Ты ведь тоже не любишь, когда на репетициях бывают посторонние.

– Когда работаю спектакль, как-то не хочется, чтобы видели мой пот, мои ошибки, муки, – ответил Юра и, прихлебнув кофе, задумчиво отёр переносицу: Понимаешь, Сергей, работать спектакль – это всё равно, что заниматься любовью с женщиной, единственно желанной для тебя. Какие тут могут быть наблюдатели, а?

– Но почему ты думаешь, будто писать картину – нечто другое?

– Вот те раз! Ведь на холсте буду я. Так?

– Да.

– В таком случае, разве мне не интересно посмотреть, как меня изобразил мой же лучший друг?

– Нормально изобразил, – буркнул я, и поскольку тарелочка с бутербродами опустела, спросил: Ты готов?

– Почти, – Юра снял полотенце и, обнажённый, сел на голубой куб в центре комнаты. – Дай мне, пожалуйста, какой-нибудь журнал...

– Нет, не теперь. Потом дам. Понимаешь, нужно, чтобы ты сейчас думал о чём-нибудь возвышенном...

– Ха-ха-ха! Вспомнил анекдот. Поручика Голицина спрашивают: «Вы любили?» Он отвечает: «Имел-с!» – «Да нет, поручик, я о возвышенном». Поручик: «Я и говорю: имел-с! Рачком-с!» Ха-ха!

– Извини, анекдоты – потом. Попробуй представить, что ты смотришь балет «Жизель»...

– Терпеть не могу!

– Ну, ладно, представь: ты сидишь в райском саду, вокруг летают бабочки и птички, цветут розы, а воздух пахнет так, будто разлили вагон французских духов «Опиум»...

– Ты представляешь, Алка купила этот «Опиум» наполоам с одной своей подружкой...

– Как это наполоам?

– А так! За флакончик запросили четыреста рэ. У Алки таких денег, понятное дело, нет. Кое-как двести рублей наскребла. Что делать? А тут Светка, подруга её, объявилась: хоть бы раз в жизни, говорит, надушиться настоящими духами, столько лет прожила – тридцать два года! – и никогда, мол, даже флакончика в руках не держала. Ну, ясное дело, Алка скумекала: Свету можно взять в долю. Та добавила своих двести рэ, и взяли они «Опиум», явились в свою лабораторию...

– Юра, давай ближе к делу. Как они флакончик делили? – перебил я друга, потому что знаю: пока он дойдёт до главного, забудешь, что вначале рассказывал.

– Флакончик они не делили. Они его разыграли...

– Ты меня уже запутал!

– Да ты сам рад запутываться! Не перебивай меня, понял? Значит, пришли они в лабораторию и давай спички тянуть, чтобы определить, кому достанется сам флакончик. Его содержимое они ещё раньше договорились разделить поровну. Алке этот флакончик и достался...

– А духи они как поделили?

– Обыкновенно. У них в лаборатории куча всяких пипеток с миллиграммовым делением. Вот Светке и откачали ровно половину в какую-то пробирку.

– Бедняжка!

– Ну! А моя-то довольная: Светка душится из пробирки, а у неё, Алки, – фирменный флакончик от «Кристиана Диора». Зря, мол, что ли, десятку переплатили?

– Юр, значит так: райский сад, над каждым кустиком по ангелу летает, звучит музыка...

– Фу-ты, ну-ты! О чём это ты, Серёжа? Лучше я представлю то амбрэ, которое у меня теперь в квартире стоит. Алка-то прискакала домой, туфли сбросила и в ванную под душ побежала: этот самый «Опиум», видишь ли, положено мазать на чистую кожу. Только и успела Антошке крикнуть: «Там, в сумке, тебе подарок!» Он и полез. И увидел красивый флакончик. Конечно, вытащил. Конечно, отвинтил пробочку. И поскольку пробочка была с кисточкой, то решил, что в бутылочке, наверно, какая-то краска. И принялся он водить кисточкой по бумаге. Ничего не рисуется! Антошка подумал, что в бутылочке какая-то особая краска, вроде как шпионская – нагреешь рисунок, например, над плитой, он и проявится. Включил горелку, держит над ней лист, а тут Алла из ванны выползает: «Ты чё, такой-сякой, делаешь?» Антошка от неожиданности уронил бумагу в огонь. Алла кинулась её гасить, да нечаянно флакончик локтем столкнула. Он на краешке стола стоял. Результат: Антошка в опале, Алла в трауре, а в квартире благоухает как в раю...

– Жалко Аллу.

– Да уж...

– Ладно. Насчёт «Опиума» не знаю, а «Чёрную магию» могу для Аллы взять по оптовой цене. Меня на одну халтуру подбивают, как раз в парфюмерном магазине...

– А денег у нас всё равно нет, – беспечно улыбнулся Юра. – Антону нужно пальто покупать, ботинки, форму – в школу парень пойдёт...

– Ты всё-таки скажи Алле о моём предложении. Духи, ясное дело, будут стоять по-божески, без «накруток»...

– И всё-таки придётся, видно, ремень ещё потуже затягивать. О, мой бедный двадцать первый палец!

– Что? – не понял я. – При чём тут палец?

– Частушка такая есть: «Манька Ваньку тянет в лес, Ванька упирается: Ванька мало мяса ест, х... не поднимается!» Вот и мой ванька пока встанька, а если кормиться плохо буду, то... О, лучше об этом не думать!

Юра трагически хватается за голову и смеётся. Сидеть ему в одной позе неудобно, и он хитрит: чуть шире расставляет колени, незаметно наклоняется вперёд. Он и не подозревает, что доставляет художнику ни с чем не сравнимое наслаждение – любоваться идеальным мужским торсом. Вероятно, и античные ваятели, живописцы испытывали нечто подобное – восторг от созерцания совершенной формы, в которой каждый мускул гармонирует с другим и нет ни единой лишней складки, но, впрочем, мощь и красота заключаются не в этом, а в том благородном, может быть, несколько самоуверенном умении управлять своим телом – это взглядом угадывается безошибочно. Подобный торс, обвитый парой женских ног – о, как похоже на лебедя, взметнувшего крылья! – не скоро залоснится усталым потом.

(Вы что-нибудь поняли? Моё письмо – слова, нанизанные на тонкую верёвочку смысла, которая, кажется, порвалась...)

Наверное, всё-таки со мной не всё в порядке. Горячая искорка зажглась рядом с сердцем, и, разгораясь, охватывает жаром тело; тёмное, жгуче-томительное возбуждение резкими толчками восходит откуда-то из глубин моего существа и я чувствую странное, робкое дрожанье рук, и уже знаю: не стоит всё это сдерживать, иначе невидимые острые иглы вонзятся в кончики пальцев, перехватит дыханье, лицо нальётся тяжёлой краснотой – и стану сам себе противен, охваченный безумным желанием быть мужчиной и женщиной, Инь и Янь в одном существе, многоликим вакхическим божеством, которому дано чувствовать всё, что чувствуют влюблённые, слившиеся в одно целое, но познавшие высший восторг лишь на миг, и как бы ни были они настойчивы в достижении истины любви, никогда мужчина не испы-

тает то, что составляет тайну женщины, и наоборот: женщине не дано познать мучительно прекрасное разрешение от бремени семени – яркое, фантастическое извержение вулкана, блеск молнии и удар грома, падение в бездну и вознесение под высокий звёздный купол, покой и свобода, и всё это – в одном ничтожно малом миге, который, однако, длится тысячелетия, спрессованные в секунды божественного экстаза.

Наверное, всё это кажется вам странным, да?)

Красота женщин и мужчин достойна любви и восхищения. Но Юра, кажется, и не подозревает о своём даре.

– Сергей, долго ещё будешь меня мучать? Позировать тебе – хуже каторги!

– Потерпи ещё немного...

– О, Боже! У меня не жизнь, а сплошное терпенье-мученье. Иногда я даже забываю, что я – это я, особенно если работаю спектакль, который мне нравится. Играешь больного, старого человека – и сам, вроде, стареешь, кашель мучает, не ходишь, а шаркаешь ногами, и голова кружится...

Он говорит без умолку, даже не интересуясь моей реакцией, и я его не останавливаю, не перебиваю, пусть говорит: устал от неподвижного сиденья, да, впрочем, и не только это: у Юры, в общем-то, приятелей много, и поклонницы есть (о, эти безумные девицы с восторженными инфантильными мордашками, в глазах – обожанье и страсть королевы Елизаветы!), но выговориться, без опаски показаться глупым и нести всякую чушь, извергать поток слов (будто запруды прорвало!) он может не с каждым, потому что вбил себе в голову: откровенность обходится дорого, и, в общем-то, это справедливо. А я что? Я молчун, никому – ничего! Что услышал, того никому не скажу, а если скажу, так прежде подумаю.

Портрет Юрия выходит странным. Лёгкий туман. Берег реки. Влажное пятно солнца. Ветви ивы, серебрятся листья. В них притаилась маленькая сладкоголосая птичка. Сиреневый камень-валун, на нём – юноша. Играет на свирели. Речная нимфа спряталась в тростнике, но, нетерпеливая, брызнет водой – поманит юношу к себе. И он войдёт в сверкающее серебро, и выбросит руку вперёд, и поплывёт тонкая свирель, уносимая волной... А Нимфа? Опечалится она, когда весёлый фавн выбежит на берег и, поражённый, оборвёт смех: юный бог входит в воду, и сам Фидий, затаив дыхание, ловит каждое его движение и, не в силах вдохнуть в тёплый мрамор все очарование человеческой плоти, обреченно роняет могучие руки свои. А птицы поют, и качается зелёная трава, и облака скрывают колесницу Аполлона...

– Что это? Пятна, полосы, смутные силуэты, блеск золота...

– Это твой портрет. Разве непонятно?

– Вот это – мой портрет? – изумился Юра. – Да ты что?

– Просто он ещё не закончен...

– Абстракция, что ли?

– Извини, я закрою холст. Ни о чём пока меня не спрашивай.

– Нет, ты послушай! Я сижу, позирую, время теряю, а ты чёрт знает что рисуешь!

– Это только начало. Всего-навсего наброски, если хочешь – эскиз, абрис...

– Серёга, ну ты, брат, даёшь! Предупреждать надо, чтоб человек не пугался. Ну и образина! – Юра, глядя на холст, недоумённо покачал головой и недоверчиво спросил: И вот это всё-таки станет портретом?

– Надеюсь.

Мне не хотелось что-либо ещё объяснять, тем более – спорить, убеждать Юру, что живопись тем и отличается от фотографии, что художник не просто копирует оригинал, а передаёт своё виденье мира, выражает себя, свой внутренний мир, а ещё – загадывает загадки, рассказывает притчи, находит в привычном нечто особенное, незнаемое, как, допустим, Казимир Малевич или Сальватор Дали. Прописные истины, в общем-то.

– Серёжа, а баб ты тоже рисуешь? Вот так – в чём мать родила. Рисуешь?

– Пишу, Юра.

– И они не стесняются?

– Нет. Они ведь знают, для чего сюда приходят...

Юра одевается не торопясь. Он любит себя, свою профессию, своих и чужих женщин, обожает, конечно, жену, домашний уют, а ещё – красивые вещи, хорошие детективы, кофе «Максим» и водку «Абсолют». И каждый раз, как надевает вот эти итальянские светло-голубые, чуть блеклые брюки, с явным удовольствием ощущает шелковистую прохладу ткани, её мягкую ласку (будто пушистый зверек трётся о ногу!); удобство покроя, незаметность крепкой молнии, скромный лейбл знаменитой фирмы – всё свидетельствует о высоком качестве и доброте.

– Интересно, когда тебе позирует голая баба, то ванька-встанька реагирует или как?

– Или как. В это время, понимаешь, об этом самом как-то не думаешь...

– Да ну! Уж не скопец ли ты? Когда у мужика твоего возраста нет ни жены, ни хотя бы постоянной бабы, то как-то поневоле, извини, думаешь: или он великий конспиратор, или импотент, или интересуется, пардон, не женщинами...

– А кому какая разница?

– Да так. Ж-жутко интересно. Все – трахаются, все – имеют кого-то, все – говорят, что, как и сколько было, в общем, слушаешь – и что-то, смотришь, новенькое узнаешь. А ты – ничего, никогда...

– Не говорю?

– И не говоришь тоже.

– А не кажется ли тебе, Юра, что любовь – это тайна? И поскольку она касается двоих, то всем остальным знать о ней не обязательно.

– Во, чудак! Я про секс толкую, а не про вздохи под луной...

Юрий оделся, причесался и, разглядывая в зеркало крохотное розовое пятнышко на щеке, закончил свою речь довольно неожиданно:

– А вообще, Серж, пошли они все к чёрту! Ещё СПИД подцепишь, – и обеспокоено то надавливая, то поглаживая это самое пятнышко, буркнул: Что-то выскочило, надо же! – и без всякого перехода, как это обычно бывает, когда над чем-то долго размышляешь, вдруг сказал: А, пожалуй, это даже и не тайна. Любовь как тайна двоих – это высокопарно. Обычное сношение, особенно если партнёра – жена твоего друга, – это, знаешь ли, тоже тайна, да ещё какая! Нет, это что-то другое. Может, это просто листок клёна, которого касались милые руки? Он случайно оказался засушенным меж страницами книги. От нечего делать ты её раскрываешь, и вдруг – удар тока, взрыв бомбы, тихая нежность и отчаянное желание бросить всё к чёртовой матери и уехать в другой город, где в полутёмных аллеях тебя ждёт старый клён...

– Романтическая пошлость, Юра! Или это банальный монолог из нового спектакля?

– Не перебивай, – рассердился Юра. – У тебя, наверное, никогда не было клёна, который помнит ничего не значащий разговор, и тихий смех, и быстрый взгляд из-под опущенных ресниц, и тот листочек, который медленно спланировал на её колени, и она, смеясь, вложила его в твою книгу вместо закладки. И ничего больше не было. А вот надо же, нашёл этот листик и понял, что упустил что-то очень важное, и настолько значительное, что вдруг почувствовал себя нищим и убогим...

Я внимательно слушал Юру, и больше его не перебивал, и мне казалось, что он говорит не о себе, всё проще: репетирует роль, входит в образ, ищет верную интонацию в поведении своего будущего героя. Ибо вся эта долгоиграющая романтика, тем более с девичьим гербарием, – это не для Юры. У него, вынужденного кувыряться между репетициями, прогонами, премьерами, на это просто нет времени.

Юра всегда уходит как-то неожиданно. Вот и на этот раз, даже не закончив свой монолог, он взялся за дверную ручку, повернул её и улыбнулся:

– Пока!

И вдруг что-то вспомнил, хлопнул себя по лбу:

– Балда! Совсем забыл! Я тебе принёс два приглашения на премьеру. Сработали новый спектакль. «Мурлин Мурло» называется. Ухохочешься!

Стоя одной ногой за порогом, а другой в прихожей, он покопался в сумке, вытащил два синих квадратика с золотым тиснением и протянул мне:

– Вот! Приходи. Обязательно. Ну, я поскакал. Эх, жизнь-индейка!

Дверь за ним захлопнулась, и я услышал, как он дробно запрыгал по лестнице вниз. Лифтами Юра принципиально не пользовался, считая, что движение на своих двоих – это самый необременительный способ оздоровления.

Только я хотел отмыть руки от краски, как в дверь позвонили. Почему-то мне никого не хотелось видеть, и я решил не открывать. Нет человека дома, ушёл гулять, на выставку японской гравюры подался, а, может, стоит сейчас в «Бутербродной» и пьёт кофе, заедая его крендельками с корицей.

В «Бутербродной» главная тусовка города, и если очень нужно кого-то из знакомых встретить, можно смело шагать сюда: рано или поздно тот, кого ищешь, обязательно тут появится.

«Нет меня! Я в «Бутере»!» – шепнул я сам себе, но в дверь снова настойчиво позвонили. Интересно, кого это принесло? Сбросив шлёпанцы, я подкрался на цыпочках к двери и, осторожно сдвинув край задвижки на «глазке», посмотрел в щелочку. На площадке стоял милиционер, а чуть сбоку от него, закрыв лицо руками, – Юра. Что-то случилось?!

– Извините, был в ванной, – открывая замки на двери, я громко оправдывался. – Не сразу звонок услышал! Что-то случилось?

– Случилось, – сказал милиционер и по-хозяйски решительно вошёл в квартиру. Юра отнял руку от лица и я увидел багровую рассеченную бровь. Темная ниточка крови извивалась по щеке. Юра снова приложил к ранке коричневый, сморщившийся платок.

– Этот гражданин действительно вышел от вас минут пятнадцать назад? – спросил милиционер.

– Ну да, – растерянно подтвердил я. – А что?

– У вас есть телефон? – милиционер не обратил внимания на мой вопрос. – Нужно срочно позвонить.

– Пожалуйста, вон там, в углу...

Я ничего не понимал. Какой-то милиционер, ведёт себя бесцеремонно. Юрку кто-то, видимо, ударил чем-то острым. Крови, в общем-то, немного, но синяк будет знатный, это точно. И рукав куртки оторван...

– Напали на меня, – сказал Юра. – Я даже сообразить ничего не успел.

– Да где это случилось? В подъезде, что ли?

– Нет. Я пошёл мимо стройки, чтоб дорогу сократить. А там, ты знаешь, есть овражек. Только в него спустился, как передо мной парень нарисовывается и сразу – бац в глаз! А сзади обхватывает меня другой, сжимает рёбра, аж дух перехватило! В общем, тот, что в глаз саданул, всё выгреб из моих карманов. Отобрали они у меня сумку и дай бог ноги...

Слушая Юру, я открыл морозилку, достал лёд. На ушиб непременно нужно положить что-то холодное, иначе синяк долго не сойдёт. Хорошо бы, конечно, наложить бодягу, но это средство, увы, напрочь исчезло из аптек.

Когда я был мальчишкой, помню, мы хихикали при одном упоминании о бодяге. Ею, по рассказам старших пацанов, сводили «засосы». Они получаются, когда захватываешь кожу губами и как бы её всасываешь, – девчонки очень боялись таких поцелуев: попробуй объясни потом родителям, откуда у тебя эдакое украшение на шее, и вообще, не дай Бог, подумают, что уже не «целочка» – тут такое начнётся, что туши свет! Если уж этот «засос» случайно полу-

чился или, допустим, твоё лицо шибко повредилось в уличных баталиях, то бодяга – первое средство, потом – лёд, свинцовые примочки, на худой конец сгодится и подорожник.

Все эти сведения калейдоскопом прокрутились в голове, а слово «засос» как-то смешно расплзлось фиолетовым пятном, которое в моём воображении вдруг превратилось в нечто наподобие насоса. Он работал так: и-их, их-их, и– их, их-их – противный, скрипучий звук, будто под окном качается ребёнок на старых железных качелях.

Когда Юра приложил лёд к глазу, на кухню заглянул милиционер.

– В травмпункт надо идти, – сказал он. – Если до суда дело дойдёт, понадобится справка...

– А без справки никто не поверит, что было, так сказать, разбойное нападение? – удивился я.

– Даже самой справке могут не поверить, – усмехнулся милиционер. – Мало ли, шёл по дороге, упал, на что-то напоролся – вот тебе и синяк. А честных прохожих, которые помогли подняться, намеренно оговорил из корыстных побуждений...

– А сумка? А деньги? – напомнил я.

– А разве на деньгах написано, что они принадлежат вашему другу? – парировал милиционер. – Сумку он мог где-нибудь потерять. Вот и всё. Свидетелей, как я понимаю, у потерпевшего нет. Никто ничего не видел.

Милиционер замолчал. Молчали и мы, потрясённые его убийственной логикой.

– Но ничего, – вздохнул милиционер. – Это дело не такое безнадёжное, как вы подумали. Только вот кое-какие подробности выяснить нужно...

Он вынул из кармана обыкновенный блокнот, шариковую ручку и стал спрашивать всякую чушь. Например, смотрел ли я в окно вслед Юре? Ну, смотрел. А не заметил ли что-нибудь необычное? Допустим, заметил, но к делу это не имеет абсолютно никакого отношения: обычно Юра ходит легко, как бы скользит по поверхности, а тут – тяжело, вдавливая каблук в землю.

Наконец, милиционер захлопнул свой блокнот и собрался уходить.

– Да, кстати, – спросил он, уже держась за ручку двери. – Когда вы будете завтра дома? Может, придётся что-то уточнить...

– Только не с утра, – ответил я. – Утром я уезжаю за город на пленэр. Можно, конечно, и отложить, но не хотелось бы. Дома буду ближе к вечеру...

– А я – наоборот: с утра дома, а после обеда в театре на репетиции, – сообщил Юра. – Жена приходит поздно. Лучший вариант – предварительно позвонить...

Милиционер что-то пометил в своём блокнотике, распрощался с нами и я закрыл за ним дверь.

– Хорошо, что этот мент шёл по той же тропинке, – сказал Юра. – Те ребята, наверное, его заметили и быстро слиняли. Мент, правда, непутёвый какой-то: что, как случилось, во что парни были одеты? Пока расспрашивал, тех подонков и след простыл...

– И всё же Бог тебя бережёт, – заметил я. – Послал какого-никакого, а мента! Тебя вообще могли бы вырубить и раздеть...

Юра, сняв со лба тряпку со льдом, внимательно разглядывал ссадину, досадливо морщил лоб, играл бровями – в общем, выяснял, как он смотрится.

Смотрелся он пока ничего, вполне сносно, но к вечеру ушиб обязательно нальётся синевой, это как пить дать.

– А, чёрт с ним! Будем считать это боевым ранением, – Юра махнул рукой. – Может, Эмка – гримёрша пожалеет и проявит всё своё искусство. Уж кого-кого, а меня она очень даже уважает, – и, повеселев, пропел: Мой маленький дружок, вот тебе мой пирожок!

Нацепив мои солнцезащитные очки, напевая и присвистывая, Юра изобразил на лице улыбку. Но его глаза как были колючими, холодными, такими и остались.

Когда он ушёл, я взял тряпку и вымыл пол. Очень уж милиционер наследил – отпечатки рифлёных подошв чёткие, будто нарисованы, и где он, интересно, в жидкую глину вляпался? Впрочем, в рисунке было что-то необычное: следы тянулись ёлочкой, причём, левая половина как бы смазана (не на всю ступню становился, что ли?).

Почему-то я не то чтобы боялся ментов, а, скорее, недолюбливал их. Может, с того случая, когда мы с бабушкой Платоновной опоздали на последний автобус и, навьюченные покупками, отправились ночевать на железнодорожный вокзал. Самое обидное: опоздали всего-то на две минуты. Обычно автобус, идущий в наш посёлок, расписания не соблюдал и отправлялся позднее. Но в тот раз с шофёром, видно, что-то случилось, а может, в стране начался очередной виток борьбы за трудовую дисциплину, – и вот результат: мы сидим на жёсткой скамье, в углу грязного зала, у обшарпанной бетонной стены.

Бабушка устала от многочасового хождения по магазинам, где мы брали учебники, краски, новую школьную форму, какие-то другие вещи, а также леденцы, булочки с изюмом, соль и различные специи, которых у Шуры-продащицы почему-то никогда не бывало.

– Я чуток подремлю, – сказала бабушка. – А ты за вещами в оба гляди! Не ровен час, какой-нибудь вор подберётся...

Спать мне совсем не хотелось. Я с любопытством озирался по сторонам, удивляясь замысловатости старых лепных украшений на потолке, огромным бронзовым люстрам, в которых, кажется, горели не лампочки, а сами собой светились хрустальные подвески. Напротив меня на полу отдыхал инвалид. Концы его пустых военных брюк-галифе были аккуратно подвёрнуты, и он сидел на квадратной дощечке с блестящими колёсиками. Инвалид был навеселе. Он поглядел на меня маленькими, с хитроватым прищуром глазками и неожиданно тоненьким голосом запел:

– По диким степям Забайкалья...

Бабушка вздрогнула и, проснувшись, крепко ухватила за один из наших узлов.

– ... Рыба-а-цкаю ло-одку бирёт, – выводил инвалид, полузакрыв глаза.

– Ишь, душа-то как страдает! – шепнула бабушка. – Кому он нужен, инвалид военный? Ни кола, ни двора, переكاتи-поле...

– Почему ты так думаешь? – спросил я. – Может, он домой едет...

– Нет, Сергуня, это тот инвалид, который в поездах поёт, – ответила бабушка. – Я его уже видела, и не раз. У него и губная гармония есть. Жалобно так играет, прямо всю душу тоской выворачивает. Кто сколько может, копеечки бросают ему в картуз...

Инвалид и в самом деле вынул из-за пазухи длинную зелёную губную гармонию, обдул с неё крошки, прокашлялся и начал выводить тихую грустную мелодию.

– Это что тут ещё за концерты? – гаркнул кто-то за моей спиной. Я обернулся и увидел милиционера. Он решительно подошёл к инвалиду и ловко выхватил у него гармонию:

– Ты чего нарушаешь общественный порядок? Предъяви документ! Куда едешь?

Инвалид неторопливо полез в карман и вдруг, резко подавшись вперёд, вцепился в руку стража порядка. Он пытался вырвать свою драгоценность. Свободной рукой милиционер крепко ударил калеку по голове – картуз слетел и покатился, а инвалид, охнув, неожиданно бодро подпрыгнул на своей каталке и впился зубами в ладонь обидчика.

– Да что он такого сделал? – всполошилась бабушка. – Никого человек не трогал, тихонечко играл себе...

– Молчать! – крикнул милиционер, пытаясь стряхнуть вцепившегося в него инвалида. – Подожди, паразит, контра ползучая, я тебе устрою падение Берлина!

– Фашист! – тоненько завопил инвалид, выпуская кисть милиционера. И это была его ошибка: до тех пор, пока держался зубами, он был хозяином положения. Теперь, получив преимущество, милиционер обеими руками ухватил калеку и крепко его встряхнул. Инвалид упал на бок, колёсики его каталки беспомощно крутились.

– Не тронь его! – сказала бабушка. – Великий грех – обижать калеку!

Рассвирепевший милиционер развернулся к нам и вцепился глазами в бабушку:

– Это что ещё за религиозная пропаганда? – закричал он. – По какому праву тут находишься? Предъяви документы! Может, ты баптистка какая...

В конце зала показался другой милиционер. Увидев подмогу, наш герой совсем приободрился. Инвалид уже справился с каталкой и принял вертикальное положение. Размазывая по лицу кровь, струившуюся из разбитого носа, он всхлипнул:

– За что? Я ж за тебя, гада, воевал!

– Но-но! – цыкнул милиционер. – За гада ответишь! – и повернувшись к бабушке, продолжал: Гражданка, где ваши документы? И билет на поезд предъявите...

– А я без документов в город еду, – неожиданно жалобным голосом сказала бабушка. – С внуком вот на автобус опоздали, надо ж где-то ночь коротать...

– Ничего не знаю, – отрезал милиционер. – Придётся пройти с нами.

– Да куда ж я с мальцом-то? – попыталась воспротивиться бабушка. – А живём мы в Светлогорье, не бродяжки какие-нибудь.

Милиционеров ничто, однако, не могло убедить оставить нас в покое, а заступиться было некому. Все сидели молча, кое-кто, правда, смотрел сочувственно, а один чернявый мужик, поймав мой испуганный взгляд, даже подмигнул: не дрейфь, мол, пацан!

Бабушка уже собирала наши узлы, готовясь идти за милиционерами, как вдруг инвалид, до того сидевший смирно, резко оттолкнулся от пола и покатил к лестнице. Милиционеры кинулись за ним, но калека уже резво скакал на своей каталке по ступенькам.

– Стой, падла! Стой!

На последней ступеньке инвалид не удержался и его каталка встала на попа, но он тут же ловко крутанулся и принял нормальное положение. Так что подбежавших блюстителей порядка наш калека встретил градом ударов. Увёртываясь от них, милиционеры подхватили каталку и, забыв о нас, потащили инвалида вниз по лестнице.

Бабушка с поклажей кинулась к другому выходу, я – за ней, не выпуская из рук тяжёлой сумки с хлебом.

Остаток ночи мы просидели на лавке в тихом сквере. Бабушка то и дело озиралась, крестилась и что-то шептала.

– Не бойся, баба, – успокаивал я. – Здесь они нас не найдут...

– Как бы на нас какая-нибудь шантрапа не наткнулась, – шепнула бабушка. – Супротив них какие мы бойцы, старый да малый?

Бабушка почему-то недолюбливала милицию. И причину этого я понял много-много лет спустя, когда в старом сундуке, что стоял в сарае, нашёл восемь обычных школьных тетрадей. Исписанные мелким почерком, они, может быть, так и остались бы лежать под кучей угля, которым засыпали сундук. Бабушка, наверное, помнила о нём, и, наверное, сама откопала бы его, но не успела.

А тот уголь она ждала целый месяц. Машина с ним пришла неожиданно. Водитель торопился на обед и разбирать, куда сваливать груз, ему было некогда. Подогнал самосвал к задней стенке сарая, которую бабушка наспех разобрала, и опрокинул кузов – так и засыпал сундук, стоявший в углу.

Вот они, эти старые тетрадки. Я никогда не видел, чтобы бабушка что-нибудь писала. Ей даже обычное письмо давалось с трудом, и сочиняла она его долго, сначала составляла фразу в уме, а потом тщательно выводила её на бумаге без всяких знаков препинания – запятые и точки она расставляла потом, а что такое тире и точка с запятой ей, кажется, было вовсе неведомо.

Наверно, свои тетради бабушка писала зимой, когда хлопот у неё становилось меньше, чем летом, всего и делов-то: вовремя задать корм козе Розалии, в просторечии именуемой Роз-

кой, да насыпать курам пшена или отрубей. Ещё, правда, надо было сходить за водой к колодцу и наколоть дров, но это занятие она считала совсем уж пустяковым. Переехать на зиму в город она наотрез отказывалась. «Изба без человека тепло теряет, – говорила бабушка. – Да и куда я Розку дену?»

Так получилось, что на старости лет бабушка осталась одна: её единственная дочь, то есть моя мать, пошла на повышение – её перевели на работу в районный центр, а внук, то есть я, став художником, остался жить в городе.

Да, конечно, она исписывала свои тетрадки долгими зимними вечерами. Соседи потом вспоминали, что Платоновна чего-то допоздна свет жгла. Может, эта писанина помогала ей заглушить чувство одиночества?



Коллаж по мотивам работ М. Чюрлениса

Из тетрадей Марии Платоновны, озаглавленных ею «Вертуты судьбы»

Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда, —
То вознесёт его высоко,
То бросит в бездну без следа.

Кому принадлежат эти строки, не знаю. Однажды их записала в мой альбом подруга Вера. И я не думала над их смыслом, пока не почувствовала: пора собираться в обратный путь — туда, откуда пришла...

По-моему, есть люди, попросту сказать близкозорые: их не волнует перспектива, и есть люди, которые не думают о сиюминутном облегчении своей участи или удовлетворении всех желаний. Близкозорые — это приспособленцы. И я их не люблю. Хотя сама могла бы стать такой. Но, впрочем, по порядку...

Как и другие дети, я мечтала поскорей вырасти, а для этого надо много есть. Наверное, даже учёные не наблюдали так за колосом ржи, как мы с братом.

Вот появились длинненькие жёлтые серёжки — колос зацвёл... Вот зародилось зернышко, и ещё одно, и ещё... И вот уже зерно тугое, воскового цвета... Мать разрешает нарезать коло-сьев, мы с братом руками выминаем из них зёрна и толчем в ступке. Получается готовое тесто, чуть-чуть зеленоватое. Из него мать готовит душистые галушки нового урожая. Дожить до нового урожая после долгой голодной зимы — это несказанное счастье.

В нашей семье восемь человек, из них трое мужчин: больной отец и два брата.

Когда отец получил землю, то пришлось продать корову и купить на руднике полуслеплого выбракованного коня, чтобы остались ещё деньжата на телегу и упряжь.

Коня звали Сокол. Он был умным трудягой, чувствовал и понимал хозяина. Бывало, только отец сядет на телегу, чуть тронет вожжи — Сокол с места, и всю дорогу бежит мелкой рысцой, пока не почувствует лёгкого движения вожжей: остановка!

Как ни старались колхозники, а с каждым годом жили всё хуже и хуже: земля обрабатывалась плохо, удобрений не было, о тракторах и прочей технике тогда и понятия никакого не имели, да ещё и председатели сменялись как стеклышки в калейдоскопе. Обычно присланный из района председатель отбывал свою повинность до осени, после чего забирал свой заработок и уезжал. Колхозникам оставалось по 100—150 граммов зерна на трудодень. Поэтому когда по нашему кварталу разнеслась весть, что к нам едет коммунист-двадцатипятилетний, только и разговору было о нём: какой он, сумеет ли наладить хозяйство, уживётся ли с людьми?

Кряжистый, среднего роста, с впечатляющей лысиной на темени и рыжеватыми будённовскими усами, малограмотный, как большинство тогдашних рабочих, но энергичный, он сразу объявил, что сам из криворожских шахтёров, в сельской жизни смыслит мало, но надеется, что всё у нас получится. Если, конечно, хотим жить по-новому.

Нас, детвору, председатель занимал, пожалуй, лишь как новое в селе лицо. Предоставленные сами себе, мы проводили лето в основном на берегу реки. Бывало, залезали в колхозный сад или в чей-нибудь огород, а то как же без этого?

Но однажды с утра пораньше по дворам прошёл колхозный кладовщик Порфирич:

— Мальцы, всем собраться на колхозном дворе! Председатель с вами говорить станет...

Когда кто-нибудь робко заикался, зачем это, мол, мы понадобились начальству, Порфирич загадочно посмеивался:

– А то не знаете? Кто вчера в малинник лазил? А у Салтычихи на огороде никто моркву не дёргал, а?

Притихшие, как испуганные воробышки, мы собрались на колхозном дворе. Порфирыч для чего-то прямо на траве расстелил домотканые скатерти, велел девчонкам помочь ему расставить чашки и миски. В них налили мёда, нарезали хлеба. Что такое? Ждём наказания за шалости, а тут – мёд!

Наконец, из конторы вышел председатель:

– Значит так, робяты, – сказал он, переступая с ноги на ногу и смешно поддёргивая носом то один ус, то другой. – С сегодняшнего дня вы будете ходить в детсад. А то, понимаешь, остаётесь без надзора и всякого воспитания. Одни шалости у вас на уме.

Держа речь, председатель говорил медленно, с расстановкой, и при этом без конца подтягивал брючный пояс. Это было смешно, и некоторые девчонки, сдерживая смех, громко фыркали.

– Ну-ну, фыркушки! – сказал председатель. – Давай налетай на мёд! А завтра приходите опять. Привезём для вас арбузы...

На другой день детворы собралось ещё больше, чем было. Степан Назарович, так звали председателя, разделил нас на группы: самых маленьких – под надзор нянек, старшеньких – им в помощники, чтобы играли с малышами. Ну а кто постарше, пошёл в полеводческую бригаду. Степан Назарович наказал им:

– Будете носить жнецам воду, собирать колоски. За это три раза в день вас будут кормить горячим крупом...

Так он называл суп из кукурузной крупы.

Работа в поле – разве диковинка для сельской ребятни? Матери частенько брали нас, девчонок, с собой – очищать кукурузные початки, обмолачивать шляпки подсолнухов. Так что, узнав об инициативе председателя, отец тут же нашёл для меня работу. Он был сторожем на току и видел, что двум тамошним поварихам никак не обойтись без помощницы. Вот и привёл меня к ним.

Вставать приходилось рано. Полусонная, в утренней дымке, я брела на работу. Что делала? Чистила картошку, драила песком котлы, мыла посуду, в общем, была у поварих во всём подсобницей.

Потом меня определили в няньки сразу троих грудничков. Мои ясли располагались на поле под телегой, занавешенной рядом. Зной, дышать нечем, малютки кричат, а я плачу вместе с ними: ни подгузников, ни пелёнок нет. Мамаши приходили к ним только во время завтрака, на обед и в полдник, а к ужину их отпускали домой.

И всё равно, когда я вспоминаю своё детство, мне кажется, что в мире было так много солнца, а дни – бесконечно длинные, знойные и светлые. Я лежу в высокой траве, гляжу, как по сиреновой шапочке цветка чертополоха старательно ползает лохматый шмель и басовито гудит. Я его не боюсь. А вот на пчёл гляжу с опаской. Их так много набивается в синие колокольчики, что растения под тяжестью пчёл склоняются чуть ли не до земли. Мелькают мотыльки, птицы, яростно стрекочут кузнечики... Я переворачиваюсь на спину. Надо мной огромное бездонное небо, а в нем трепыхаются черные точки – это жаворонки. Они заливаются так радостно, так звонко! А где-то неподалёку косят сено, и я слышу косу: вжик-вжик!

Утро я видела в розовом цвете, вечер – в оранжевом, день – сплошное яркое многоцветье. Наверное, только в детстве весь мир бывает таким прекрасно ярким! Но в одно мгновение он может стать и совершенно чёрным. Чернее, чем воронье перо. Таким стал день, когда умер наш отец.

Он умер как-то внезапно, таинственно. Вечером, собираясь на своё дежурство, он смеялся и шутил. Утром его нашли в луже крови, без сознания. Вечером отец умер. Что случилось ночью на току, так никто никогда и не узнал.

Отец был строгим. Помню, увидел среди моих игрушек чужую вещь и потребовал, чтобы я отнесла её соседской девчонке, и сказала: «Извини, Катя, это я у вас украла. Прости меня. Больше воровать не стану».

А бить он нас не бил. Считал, что сила пугает, но не воспитывает.

Без отца нам было плохо. И я часто вспоминала, как отец отдал меня с братом в сельский детдом. Нам было там хорошо: дома голодуха, а тут кормили четыре раза в день. Утром, как приходили, снимаем свою домотканую одежду, я одеваю ситцевое платьишко с «крылышками», а братец – сорочку и штанишки. Няни с нами играют, поют песни про серенького козлика. Но вообще-то, детских песен тогда придумывали мало, и мы пели то, что слышали от взрослых. А воспитательницы у нас были городские, их специально прислали «просвещать» деревенских ребятишек, и они, как услышат какую-нибудь частушку, так чуть в обморок не падают.

Однажды мама пришла домой и сказала:

– Слушай, отец, что люди говорят. Будто бы скоро приедут в детдом врачи, будут делать ребятишкам уколы. А как они от них уснут, их погрузят на машины и увезут в город.

– Да кому они там, в городе, нужны? – изумился отец. – Сама подумай!

– Воспитают из них послушных работников и отправят рыть какой-то канал, – упорствовала мама. – Весь народ так говорит!

– Это агитация враждебных элементов, – сказал отец. – Не слушай ты их!

Тогда мама спросила нас:

– Вам воспитатели говорили что-нибудь про уколы?

– Говорили, – ответила я. – Скоро врачи нам сделают прививки. Чтобы мы никакими болезнями не хворали...

– Вот, видишь, – повернулась мать к отцу. – Детям-то правду не говорят, но уже готовят их к уколам...

– Ладно, не мели чепухи, – сказал отец. – Пусть пока ходят в детдом. Там они хоть досыта едят...

Мать, однако, нашептала нам: врачи – это законспирированные враги, ни за что не давайте им в руки; как увидите их – бегите!

И однажды днём в детдоме появились эти страшные люди в белых халатах и с какими-то чемоданчиками в руках. Дети, увидев их, сразу в крик и ну бежать: кто в дверь, кто – в окно. Откуда ж нам было знать, что медики всего-навсего делали прививки от туберкулёза, оспы, свинки и прочих болезней?

Но делать нечего, раз сбежали из детдома – значит, не очень-то в нём и нуждались. Отец посокрушался, но всё-таки сходил в район и поставил нас на довольствие. Был тогда такой распределитель: комитет помощи голодающим детям. Мы со старшей сестрой брали в руки по котелку и каждое утро отправлялись туда за пищей.

Как-то я, малышка, запуталась в траве, упала и расшибла ногу. Сестра вынесла меня на ровную тропу и я шла за ней, хромая. А на мосту у реки как раз играл сынок зажиточных соседей-украинцев. Увидев меня, он, дурачась, запрыгал на одной ноге и засюсюкал:

– Куда идёс, куда идёс,

Куда скандыбаёс,

– В распрядком за пайком,

Хиба з ты не знаёс...

Ой, как мне было стыдно! Я просто возненавидела этого сытого, пухлощёкого мальчика. А он повадился каждый день подкарауливать нас на мостике и распевать свою дурацкую частушку.

Потом, слава Богу, «помощь» стали выдавать сухим пайком: крупы, муку, растительное масло, и сразу – на неделю вперёд. Но, не смотря на это питание, я всё равно оставалась худень-

кой и маленькой. «Не в коня корм», – шутил отец и печально улыбался. Наверно, вспоминал, как я, девятимесячный карапуз, ползала по двору и пыталась захватить губами то лист подорожника, то какой-нибудь цветок. У меня была врожденная травма языка, но, не смотря на боль, инстинкт выживания заставлял терпеть страшную боль и хоть что-то заглатывать для пропитания.

Мой язык долго был непослушным, и когда я пыталась выговорить букву «р», то получалось какое-то сплошное «ляляканье». Толстый рубец по-прежнему мешал есть. Я злилась, карябала его ногтями до крови.

– Что ты делаешь, дочка? Язык загниёт! – говорила мне мать. – Хочешь, чтобы он у тебя совсем отпал? Будешь тогда безязыкая...

Я испугалась и больше не пыталась содрать этот рубец. И с буквой «р» постепенно справилась: нажимала пальцами на язык и медленно выговаривала какое-нибудь жутко сложное для меня слово, например, «карлик».

В семь лет брат-второклассник повёл меня в школу. Всю дорогу я помнила, сколько мне лет, а как увидела учительницу, так сразу растерялась и сказала:

– Шесть!

– Молодец, что хочешь учиться, – учительница погладила меня по голове. – Но придётся тебе придти через годик. Ты ещё маленькая.

– Да я всю жизнь такая маленькая буду, – заревела я. – Что ж, и учиться теперь нельзя?

– Сколько ей всё-таки лет? – спросила учительница у моего брата.

– Семь годков, – подтвердил тот. – Она всё боялась, что её за шестилетку примут.

– Переволновалась, значит, – засмеялась учительница. – Ладно, проходи в класс, садись за парту...

Вот так и стала я первоклассницей.

Училась я хорошо, всё схватывала, как говорится, на лету. Букваря мне было мало, очень хотелось читать настоящие книжки. И я пошла записываться в школьную библиотеку.

– Первоклассникам книг не выдаём, – сказала библиотекарша. – Вы ещё плохо читаете. А книг не хватает даже старшим ученикам...

В библиотеке и вправду было всего несколько десятков книг да кое-что из детских журналов.

– Я умею читать, тётенька, – захныкала я. Стою и двинуться не могу: так мне хотелось узнать, что скрывается за яркими обложками книг и журналов.

Библиотекарша раскрыла книжку с поэмой о Мальчишке-ленивце, который верхом на борове решил удрать в Америку, где школ не было.

– Читай, – сказала библиотекарша.

И я стала читать, да так быстро, что «тётенька» и рот от изумления открыла:

– Вот это да! Бойкая! И вправду хорошо читаешь...

Я ей, конечно, не стала признаваться, что эту поэму знаю почти наизусть. Мой брат приносил книжку домой, и сёстры её тоже читали вслух, и все товарищи брата то и дело её пересказывали.

– Да тебя надо всем в пример ставить, – сказала библиотекарша. – Такая кроха, а читаешь лучше всех этих переростков. Я тебя записываю в библиотеку!

Переростков в нашей школе было немало. Выбегаешь, бывало, из класса на перемену, а эдакий верзила пятнадцати-шестнадцати лет мчится за тобой и кричит:

– Убегай! Раздавлю!

Подхватит тебя на руки, бежит и гогочет, а ты с перепугу болтаешь ногами и руками, как лягушонок, но никак не вырвешься.

Потом этих переростков устроили на работу и перевели на курсы ликбеза. А мне, между прочим, уже во втором классе, как «грамотной», дали поручение: подписывать и ребят,

и взрослых на газеты и журналы. При мне всегда была коробочка с общественными – «подписными»! – деньгами. Бывало, зайдёшь в магазин, а там в витрине – хлеб, пряники, конфеты. Кто-нибудь из подружек соблазняет:

– Маша, у тебя деньги... Давай купим чего-нибудь...

Я вся сжималась, скороговоркой отвечала:

– Деньги не мои, вы же знаете! Потрачу их, что в кассу верну?

После уроков мы с подругой Милой ходили по домам: продавали портреты писателей, наших тогдашних вождей и кое-что из литературы.

Мила любила носить книги в те дома, где жили более-менее грамотные люди. Ну а мне очень хотелось зайти в избу, где, я знала, обитали два брата и сестра. Их родители умерли, и они жили одни.

– Пойдём к ним, – сказала я однажды. – К ним никто не ходит. Может, обрадуются, что хоть кто-то зашёл...

– Да ты что? – Мила покрутила пальцем у виска. – Они всегда держат дверь на крючке, никому не открывают. Нелюдимые!

– Мама мне рассказывала, что они стесняются своей бедности, – сказала я. – Старший брат-инвалид зарабатывает тем, что чинит обувь, младший – жестянщик. А их сестра в свои восемнадцать лет совсем седая, как старуха. Может, всё-таки зайдём к ним?

– Иди сама, – ответила Мила. – Что я буду даром время терять? Лучше пойду к дядьке Рябоконю. Он хотел купить портрет писателя Маяковского...

Я с ней не пошла. Всё-таки постучала в дверь «нелюдимых». Никто не откликнулся. Я стукнулась сильнее. Слышу: заскрипела внутренняя дверь, кто-то прошёл по сеним, звякнул крючок и в щелочку на меня поглядели черные настороженные глаза.

– Тетя Таня! – закричала я. – Я к вам...

Очень боялась, что девушка снова накинёт крючок на дверь, и потому говорила с ней громко, называла по имени (его я от матери узнала) :

– Я книги вам принесла, портреты знаменитых людей... Смотрите! Может, вы что-нибудь купите?

Таня робко вышла на крыльцо, и я увидела, что она и в самом деле вся седая, чёрная юбка пестрела многочисленными заплатами, рукава застиранной до желтизны сорочки доходили лишь до локтей.

– Здравствуй, девочка, – сказала она. – Откуда ты знаешь, что меня Таней зовут? Даже братья меня кличут не иначе как Сивая...

– Знаю... Мы ведь в одном посёлке живём, – ответила я. – Меня Машей зовут... Я книги распространяю.

– Что мы на улице говорим? Неудобно. Пошли в хату, – сказала Таня.

Я разложила своё богатство на столе и, как нас учила учительница, принялась его хвалить. Таня остановила свой выбор на портрете Карла Маркса.

– Вот этого возьми, – сказала она. – Он на вид божественный, и борода у него как у архиерея. Кто это?

– Карл Маркс, – просветила я её. – Учитель всего прогрессивного человечества.

– Вот здесь он у нас и будет висеть, – сказала Таня и залезла прямо на стол, чтобы примерить портрет в передний угол. – Братья иконы сожгли. Грех-то какой! Пусть этот старец вместо них висит...

Мать рассказывала мне, что братья Тани, рассердившись на Бога за свою нищету, сиротство и раннюю смерть родителей, вынесли иконы во двор и сожгли их. Старики осуждали их за это и сторонились.

– Правильно, тетя Таня, – поддержала я её. – Самое ему там место! Карл Маркс, он за бедных, хочет, чтобы все жили в достатке, чтобы у каждого были хлеб, одежда и обувь...

Таня слезла со стола, умильно поглядела на портрет Карла Маркса, зачем-то перекрестилась и пошла к сундуку, из которого достала небольшой узелок, развязала его и я увидела горстку мелочи. Девушка нашла в ней двадцать копеек, торжественно протянула их мне:

– Спасибо, девочка, что зашла. Мне теперь веселее станет жить, – и снова умильно взглянула на Карла Маркса.

Через несколько дней я снова заглянула к Тане.

– Спасибо тебе, Маша, великое, – радостно сказала она. – Мои братовья уж такие радые, что в нашей халупе настоящий земной бог поселился...

– Какой бог? – не поняла я.

– Карл Маркс – защитник всех обездоленных, – кротно пояснила Таня. – Он всех нас научит, как построить рай на Земле...

– Но для этого нужно и самим много учиться, – я повторила мысль нашей учительницы, как свою собственную. – Стране требуются грамотные люди. Вы, тётя Таня, не хотите пойти на курсы ликбеза?

– Что ты, что ты?! – вскрикнула Таня. – Я никуда из хаты не выхожу: нечего на себя одеть, ещё людей испугаю...

Так что пришлось мне самой ходить к Тане. Она оказалась прилежной ученицей, и довольно скоро научилась сносно читать и писать печатными буквами. А моё собственное ученье закончилось в седьмом классе после ноябрьских праздников. После смерти отца матери стало невмочь одной кормить всю семью, пришлось нам, старшим детям, пойти на работу в колхоз.

За работой и не заметила, как стала взрослой. Однажды подошёл ко мне комсомолец Алеша Дзюба и говорит:

– Хватит тебе байдыки после работы бить! Поступай к нам в комсомол.

– Мне и так не скучно!

– В комсомол принимают только самую передовую молодёжь, – объяснил Алёша. – Ты вполне подходящая кандидатура. Будем вместе заниматься общественными делами.

– А Верке, значит, отставка? – ехидно спросила я. Алёшка везде ходил с Верой Серовой, тоже комсомолкой, и полсела думало, что это любовь.

– Тю! Вот дурёха! – расхохотался Алёша. – Да ты что подумала-то? Вера – стойкая комсомолка, активистка, у нас общие поручения. Мы с ней думаем свою агитбригаду создать. И тебя в неё возьмём...

Я прибежала домой и сказала матери:

– Буду вступать в комсомол!

– И не думай, – ответила она. – Ты что, сдурела? Поговаривают, что скоро война будет, придёт германец, подымет на штыки всех комсомольцев...

– Всех не подымет! – воскликнула я. – И вообще, я уже не ребёнок. Могу и сама распорядиться своей судьбой. Мне уже семнадцать лет!

– Поступай, как знаешь, – мама укоризненно качнула головой. – Неволить не стану...

Кому теперь скажи, не поверят, что тот сентябрьский день 1937 года запомнился мне на всю жизнь. Я встала рано-рано утром и всю дорогу до райкома комсомола повторяла устав, речь Ленина на третьем съезде РКСМ, что-то ещё, кажется, стихи комсомольских поэтов.

В райкоме комсомола меня расспросили о жизни в колхозе, проблемах молодёжи, задали вопрос о принципах демократического централизма. «Принята», – услышала я.

О! Вижу себя как сейчас... Худенькая девчушка в белой кофточке, чёрной юбке, на ногах – лёгкие голубые «спортсменки», белые носки. Нарядная! И от радости, что стала комсомолкой, даже выше ростом стала. По грунтовой дороге не иду – лечу, ног под собой не чувю. Мимо проплывают хаты родного села, сады, огороды, знакомые люди приветливо улыбаются – всё это моё, такое родное, светлое, сердцу тёплое. Глупенькая, я не понимала тогда,

что творилось в стране: аресты «врагов народа», ГУЛАГ, расстрелы ни в чём не повинных людей, переполненные тюрьмы...

Конечно, та Система держалась на восторженной вере в социализм таких, как я, а ещё – на молчаливом страхе тех, кто был постарше и, возможно, понимал смысл происходящего.

На первом в моей жизни комсомольском собрании мне дали поручение – заведовать сельским клубом. Так что днём я работала в садово-огородной бригаде, а вечером – в клубе.

Вместе с девятиклассницей Верой Шумейко мы выбирали из журналов какую-нибудь пьесу и подолгу обсуждали, кому из сельчан какая роль подойдёт. Вера мечтала поступить в театральный институт, и потому добровольно взяла на себя роль режиссёра.

Наметив исполнителей главных ролей, мы приходили к ним домой и говорили:

– Без вас спектакль не получится. На эту роль годитесь только вы! Ну, как мы без вас обойдёмся? Соглашайтесь!

Как ни странно, никто не отказывался.

Наш спектакль «Мартын Боруля» всегда шёл с аншлагом. Из соседних сёл являлись ходоки:

– Слышали, что у вас артисты хорошие. Приезжайте к нам! А то мы скучно живём...

Конечно, мы выезжали. Наши спектакли славились по всей округе. А ещё вся округа ходила к нам смотреть кино.

Движка для киноустановки в клубе не было. Так что парням приходилось крутить «динаму» вручную.

Однажды к нам в клуб пришла Таня. Та самая, что повесила в угол портрет Карла Маркса вместо иконы. Вера обрадовалась:

– О! А нам как раз нужна артистка в новый спектакль. Хочешь играть?

– Неграмотная я, – сказала Таня. – Ничего не умею.

– Не умеешь – научим, не хочешь – заставим, – оптимистично заявила Вера.

Таня оказалась способной ученицей, и месяца через два на премьеру нового спектакля собралось всё село. Таня играла роль передовой колхозницы, которая боролась против вредителей. Эти вредители травили коров и вытворяли разные гнусности.

Кому-то, видно, не понравилось, что тёмная, и к тому же богобоязненная, девушка исполняет роль активной общественницы. По селу уже давно шёл слух, что она молится на Карла Маркса, как на Господа Бога. И тем самым, стало быть, наносит явный вред основателю коммунистического учения и всему атеизму в целом.

За Таней приехал из райцентра «чёрный воронок» и увёз её навсегда. На следующий день он приехал за Верой. И она тоже не вернулась из райцентра. На все наши вопросы председатель колхоза отвечал односложно:

– Таня – враг народа, а Вера не разглядела её классовую сущность. Стало быть, должна нести ответ...

– Может, нужно за неё заступиться? – спрашивали мы.

– В НКВД работают умные люди, они во всём сами разберутся, им адвокаты не нужны, – сурово отрезал председатель. – Если чего-то не поймут, то сами придут и вас обо всём расспросят...

Никто не приехал и ни о чём не спросил.

Теперь понимаю, что смалодушничала. Это ведь я продала Тане тот портрет! И знала, что она повесила его в божницу. Значит, я тоже вполне могла бы сойти за пособницу «богомолки» и «тайного врага народа». Может быть, именно это обстоятельство и удержало от поездки в райцентр, чтобы заступиться за девушек. Да и председатель намекнул: дескать, сидите тихо и не высовывайтесь, без вас разберутся.

А тут ещё мама вдруг начала выпроваживать меня на учёбу:

– Поезжай, дочка, в Днепропетровск. Там на обувную фабрику берут учеников. Дают им угол, стипендию. Будет у тебя специальность. Это же счастье!

Теперь-то я понимаю: она боялась, что и за мной может приехать «чёрный воронок».

Насушила мама чемодан сухарей, ещё положила в него десятка два золотистых луковиц и немного соли, завязанной в белую тряпицу. И я поехала мечте навстречу...

В училище меня очень выручила привычка жить по средствам, вернее – без них. Хотя порой и падала в обмороки от недоедания, а училась хорошо. К концу первого года учёбы работала по четвёртому разряду. Деньги платили небольшие, но я умудрилась сэкономить на ситцевое платье, туфли, сменное бельё. Это была такая радость!

Окончила училище по пятому разряду. Мне дали премию – дамскую сумочку. А наш директор Евгений Константинович Яковлев на выпускном вечере произнёс про меня целую речь:

– За полтора года на имя этой скромной комсомолки не пришло ни одного денежного перевода, ни одной посылки! Сегодня вы видите её красивой, хорошо одетой. Всё заработала и купила сама, без помощи мамы. Перед Марией открывается широкий светлый путь...

И что мне оставалось делать, если сам Евгений Константинович так торжественно выпихнул меня на этот путь? Оглянулась в последний раз на училище и пошла вперёд. То есть на обувную фабрику.

Тут надо сказать, что я обучалась не только шить обувь. Был тогда при нашем клубе «Обувщик» балетный кружок. И когда однажды мы с подружкой Тоней случайно увидели одно его занятие, так прямо загорелись: и мы не лыком шиты – обязательно научимся делать такие же грациозные па, виртуозные подкрутки и вообще станем балеринами.

Наивные, глупые девочки! Мы даже не догадывались, что кроме ежедневного, изматывающего труда, требуется ещё и талант. Но, тем не менее, месяца за полтора мы с Тоней изменились до неузнаваемости. Как и многие другие деревенские девушки, мы не были слишком худенькими. А тут вдруг стали стройными, лёгкими.

– Поразительные успехи! – похвалила нас балетмейстер Надежда Григорьевна. – Когда вы, девчонки, пришли к нам впервые, я подумала: о, какие тумбы! А вы, оказывается, почти Сильфиды!

Правда, Тоня вскоре покинула ряды Сильфид: не выдержала нагрузок. Из меня балерины тоже, увы, не получилось.

Нас, девушек и парней с обувной фабрики, в глаза и за глаза называли «сапожниками». Некоторые девицы из общежития отличались вольным поведением, и потому по городу о них шла дурная слава. Так что, когда я познакомилась с Сашей, то не призналась ему, что «сапожница».

Между прочим, молодёжь моего поколения была скромной, вежливой. О чём, думаете, мы говорили с Сашей? Не угадаете даже с десяти раз! Каждое наше свиданье начиналось с обсуждения очередной главы из «Истории ВКП (б)».

И вот идём мы с ним как-то по тенистой аллее, беседуем на умные темы, а навстречу – солдат и Маруся, наша общежитская девчонка. И – о, ужас! – он её целует на ходу, а она хохочет-заливается.

– Бесстыжая, – прошептала я. – Ведёт себя непорядочно! Вот подожди, придёшь домой, я тебя пропесочу, – и осеклась, потому что выдала свою тайну: я ведь тоже общежитская! От Саши я это скрывала.

– А за что вы её собрались песочить? – удивился Саша.

– Как за что? Советская девушка должна быть скромной! Да и солдатик этот бессовестный... Смотришь какой-нибудь кинофильм о военных, душа радуется: все такие умные, порядочные... А в жизни они вон какие! Ненавижу солдат...

Саша улыбнулся и быстро вынул из внутреннего кармана пиджака военный билет:

– Смотрите: я тоже солдат, в звании лейтенанта. А этот рядовой – мой подчинённый. Я, конечно, поговорю с ним, что неприлично вести себя так. Но, Мария, я точно знаю: он надёжный, хороший человек...

Я была ошеломлена. Почему-то раньше мне и в голову не приходило спросить у Саши, кто он по профессии, чем занимается. Считала, что главное в человеке – это сам человек.

Боже, как мне стало неудобно за свои высказывания о военных и их порядочности. И я не нашла ничего лучшего, как спросить:

– Саша, а почему вы всегда приходите на наши встречи в гражданском костюме?

– А почему вы, Мария, скрывали, что живёте в общежитии? Если бы я был в форме, то вы согласились бы со мной встречаться? Вы ведь считаете: если военный – значит, гуляка-парень: поматросит и бросит. Так?

Я, пристыженная, молчала.

– Не все общежитские девушки плохие, – улыбнулся Саша. – Одна-две поведут себя неприлично, а пятно на всех ложится. Так и насчёт военных. Не все солдаты плохие, поверь...

Господи, что может быть нелепее этого диалога? Но ничего не поделаешь, тогда, в конце тридцатых – начале сороковых годов, мы были наивны и романтичны. И всё-таки, не покривлю душой: я была искренней. Не умела врать, выкручиваться и строить козни.

До сих пор в мельчайших подробностях помню ту субботу. Мы с Олей Нестеренко поехали в свой клуб на генеральную репетицию. Балетмейстер Надежда Григорьевна была довольна: всё у нас получилось хорошо!

Окрылённые, мы вернулись в общежитие с настоящими театральными костюмами. Завтра, в воскресенье, будем выступать в летнем театре парка имени Тараса Шевченко. Ах, как мы утюжили эти костюмы, сдували с них пылинки!

Вечером я сказала Саше:

– Приходи на наше выступление. Мне так хочется, чтобы ты был в театре...

– У меня завтра весь день свободный, – ответил он. – Конечно, приду.

Он взял мою руку и осторожно её погладил. По моим тогдашним представлениям, порядочная девушка не должна была допускать таких вольностей. Но я почему-то не отдернула руку и даже напротив – пожалала его пальцы.

Мария, мы с тобой уже давно встречаемся, – вдруг сказал Саша, не отрывая от меня глаз. – Ну.. как две подруги... Может, ты меня осуждаешь... Поверь, я никогда не разбрасывался поцелуями... Считаю, что они должны быть искренними...

Я почему-то зажмурилась, а сердце моё забилося как рыбка в ведре. И тот свой первый в жизни поцелуй никогда не забуду.

А знаете, что мы делали в ту ночь в общежитии? Бесились! Под нашей комнатой на нижнем этаже жили ребята. Высунув головы из своего окна, они переговаривались с моими соседками, шутили, рассказывали новые анекдоты. И если что-то нам казалось неприличным, мы остужали ребят: выплёскивали ковш воды на их головы. О, как они возмущались! А мы падаем на кровати и хохочем. Вот дурёхи!

Потом, отдышавшись, кто-то из девчонок осторожно выглядывает в окно: что там внизу делается? А притаившиеся ребята быстренько плещут водой из ковшей вверх. Но куда там! Она им же на головы и шлёпается. И снова – хохот, визг, шутки, разговоры.

А утром я проснулась от монотонной и какой-то тревожной речи по радио. Динамик, кстати, мы никогда не выключали. Кто говорил по радио, я сразу и не поняла. Уловила только страшное слово: война! Это выступал Молотов.

Вдруг взревела сирена. Вообще-то, это было не в диковинку: гражданской обороной тогда занимались всерьёз, при фабрике было несколько санитарных команд, действовали курсы инструкторов ПВХО, медсестёр, был оборудован сборный пункт оказания первой помощи...

И время от времени устраивались учения: ни свет-ни заря взывала сирена, мы вскакивали, по-солдатски быстро натягивали на себя одежду и бежали на пункт.

– Ну, прямо зла не хватает, – ругнулась подскочившая в своей постели Оля. – Поспать по-человечески не дают! В прошлый выходной тревога была. Сколько можно?

Другие девчонки тоже были не в восторге от внезапной побудки.

– Девочки, – прошептала я, – вы только не пугайтесь, милые. Война! Это первая настоящая боевая тревога...

– Что? Ну и шутки у тебя!

– Правда: война! Только что Молотов выступал по радио. Одевайтесь быстро. Пойдём на сборный пункт...

Весь день по радио читали заявление правительства, говорили о вероломном нападении коварного врага, транслировали военные марши. А после обеда прибежал какой-то незнакомый парень и передал мне записку от Саши:

«Наташенька! Жди меня. Война долго не продлится. Я обязательно вернусь. Только жди меня. Саша».

Я так растерялась, что не сразу догадалась: у этого парня можно расспросить, что да как, куда Сашу послали и как ему написать. А когда опомнилась, его рядом уже не было».

Ехать на этюды с Наташей мне не хотелось. Я предпочитаю работать один, и терпеть не могу, когда рядом кто-нибудь есть, а особенно, если меня отвлекают разговорами. Наташа как раз любительница поболтать и посмеяться. И уж если объявляла перекур, то и в самом деле обязательно выкуривала пару сигарет, выпивала чашку кофе из термоса, и при этом – чирикала, чирикала, чирикала...

Наверное, я ей был нужен. Может, она строила насчёт меня какие-то свои женские планы. Основания для этого у Наташи были.

Месяца четыре назад после открытия выставки молодых художников мы всей компанией закатились в мастерскую Стаса Майорова. Конечно, пили. И несли всякую чушь. И флиртовали. Меня развезло и я почему-то всё порывался продемонстрировать, как правильно танцуют классическое танго. Его когда-то не случайно считали непристойным танцем, а в чём суть недозволенности нынче уже, пожалуй, и забыли, превратив танго в добропорядочное топтанье парочки на одном месте.

В паре со мной Наташа исполнила уж-жасно сексуальное танго. Я просто обалдел.

Потом, когда наша компания вывалила от Стаса на шоссе и отчаянно махала всем проезжавшим мимо машинам, Наташа прижалась ко мне и заговорщически шепнула:

– Пойдём вон за тот дом, там перекрёсток. Легче уехать.

Мы, действительно, быстро поймали «мотор». И получилось так, что я напросился к Наташе в гости. Нет, ничего такого и в мыслях не было, просто у неё имелся потрясающий альбом Босха, который она мне и собиралась показать.

Альбом я посмотрел. И выпил ещё пару рюмок коньяка. Что было потом, не помню, покарай меня Бог, не помню.

Очнулся я от странного, сладковато-пронзительного ощущения блаженства. Скользнув взглядом вниз, увидел ласкающую меня узкую ладонь. Наташа положила голову мне на живот и её волосы рассыпались по нему мягкой, истомной волной.

Между прочим, я стесняюсь раздеваться даже в мужских компаниях, в той же сауне или бане, – мне почему-то кажется, что чужой глаз обязательно заметит какой-нибудь изъян. И хоть у меня всё в порядке, всё же – стесняюсь. А тут – о, Господи! – Наташа поглаживала меня, её голова медленно скользила вниз. И тут, улучив подходящий момент, я быстро перевернулся на живот. Причём, глаз не открывал – будто бы сплю.

Почему? – шепнула Наташа. Её ладонь дрогнула, напряглась и оторвалась от моей спины. Что я мог ей ответить? То, что мне неприятна эта женская жадность? Или то, что не люблю всех этих особенных ласк? Обычно потом начинаются обиды: я тебе делала то-то и то-то (как будто я просил!), ничего не стеснялась, а ты не хочешь приласкать меня, будто я месяц не подмывалась... Ну, как объяснить, что меня тошнит даже от чуть заметного запаха чужой плоти, который никакими дезодорантами истребить невозможно, особенно неприятен тот дух, что возникает во время любви. Видимо, у меня на него аллергия: покрываюсь мелкими красноватыми точками, которые нестерпимо чешутся.

– Почему? – спросила Наташа громче. Делать вид, что сплю, было по крайней мере неприлично, и я изобразил медленное, тяжёлое просыпание, потом – удивление и, в конце концов, чтобы отделаться, пришлось доказать, что с «Кама-Сутрой» знаком не только теоретически.

Лучше бы этого не было, потому что Наташа решила, что наконец-то нашла своего суженого. А я делал вид, что то, что случилось, – это вполне естественно и ни к чему не обязывает: шалость, мимолётное увлечение, поступок джентльмена, не более. В общем, смутная улыбка, отражённая в тусклом зеркальце...

Наташа этого не понимала, и недели две звонила каждый день раз по десять, и мне приходилось снова и снова что-то выдумывать насчёт занятости, неотложных встреч, срочном заказе, но одно я знал точно: не надо врать, что болен – придёт лечить, и нельзя напрямую дать понять, что больше ничего не будет – такие девушки не прощают пренебрежения собой, и от них можно ждать потом такого, что и в дурном сне не привидится.

Потому я и решил поехать на этюды вместе с Наташей, чтобы наконец как-то объясниться. Может, её убедят уверения в том, что на серьёзные отношения со мной рассчитывать не приходится, поскольку я твёрдо решил не портить жизнь ни одной женщине. Ведь жена должна ни в чём не нуждаться, не думать, где взять продукты, во что одеться, как сохранить пуговицы и колготки в автобусной давке в часы пик: ни денег, ни машины, ни дачи, ни квартиры у меня нет. Обеспечить достойную жизнь даже самому себе не могу. А та квартира, где живу, – не моя. Хозяйка уехала на два года в Сирию, лечит тамошних детей. А вернётся – сыграет мне «Турецкий марш».

Насчёт квартиры я вообще-то вру. На самом деле она досталась мне в наследство от одинокой тётки Тани, которую я почти не знал. А она меня любила, впрочем, нет, не меня, а моего отца. Я очень на него похож.

Тётка Таня, скрывала эту любовь. Наверное, и я бы ничего о ней не узнал, если бы не стал переделывать антресоли. Там и обнаружил что-то вроде тайничка: несколько облигаций послевоенного займа, сберкнижку на 327 рублей 21 копейку, золотой перстень с аквамаринном и четыре письма от отца.

Он писал, что не может и не хочет уходить из семьи, совесть не позволяет, а может быть, и привычка, и что если она, тётка Таня то есть, будет приезжать в гости, то всё может открыться: взгляд, улыбка говорят больше, чем слова, а он, отец, не желает нарушать покой Надежды, то есть моей матери. К тому же, она последнее время болеет, ей и без того худо, и надо нести свой крест, ничего не поделаешь. Он его и нес, пока не случился инфаркт. Я навсегда запомнил эту странную улыбку блаженства на измученном восковом лице отца...

Рассказывать об этом Наташе я, разумеется, не собирался. Как не собирался и продолжать с ней те отношения, которые могли бы подвести меня к дверям загса.

На этюдах мы сначала занимались рисованием. Я выбрал заросли лещины, переплетённой диким виноградом. На темно-зелёный кустарник падала тень от ажурного, весёлого бархата, и когда набегал легкий ветерок, то мозаика света и тени неуловимо менялась, и мне хотелось схватить эту динамику, передать мимолётное движение воздуха, слабое мерцание тяжёлых виноградных листьев, кружение редких пушинок одуванчика, вспышки капелек медвяной росы...

Наташа писала пейзаж: высокий пригорок, берёза, звёздочки саранок в высокой колючей траве, а над всем этим весело плещется голубое море в белых парусах.

Против моего ожидания, она не болтала, не курила и не предлагала перекусить. А мне надо было как-то начать разговор, и в то же время начинать его было не то чтобы боязно, а неприятно: не хотел портить настроения ни себе, ни Наташе, и новые сложности мне совсем не нужны; и потом, что делать, если она вдруг рассмеётся и скажет, что вовсе и не собиралась женить меня на себе, а всего лишь и хотела трали-вали, вали-трали...

Где-то поблизости то куковала, то смеялась кукушка. На верхушке соседней ольхи торчал сорокопут и, поглядывая на меня, громко стрекотал. Мимо пролетел большой чёрный махаон, и сорокопут, соблазнившись лёгкой добычей, ринулся за ним, но махаон, не будь дурак, свернул в кусты лещины и там притаился. Разочарованная птица принялась стрекотать ещё яростней.

Игра света и тени в мозаике орешника, деревьев и трав постепенно тускнела. Большое серое облако набежало на солнце и закрыло его. Теплая капля упала на моё лицо, и ещё одна, и ещё...

– Наташа! Кажется, дождь начинается!

– Ничего, – откликнулась Наташа. – Он скоро пройдёт. Давай перекурим пока...

Дождинок, однако, становилось всё больше: вслед за серым облаком прибыла настоящая сизая туча. Внутри неё взрывались фейерверки молний.

Мы, конечно, кинулись собирать свои этюдники и сумки. Где-то вдалеке уже грохотал гром, и дождь становился все сильнее.

По мокрому оврагу мы добежали до полуразвалившейся будки. У неё не было ни окон, ни дверей – только ветхие стены и потолок.

– Не смотри на меня, – сказала Наташа. – Я мокрее самой мокрой курицы. Страшная?

– Ну что ты!

– Мне нужно отжать брюки и рубашку. Не смотри на меня...

– И ты на меня не смотри, – отозвался я. Хотя это, в общем-то, было глупо: Наташа уже видала меня без всякой одежды.

Мы копошились каждый в своём углу, выжимая и развешивая одежду на гнилых выступах серых стен. Оглянувшись, не смотрит ли Наташа, я попытался отжать мокрые плавки прямо на себе.

Наташа стояла ко мне спиной и закалывала волосы на затылке. Её фигура в светлом проёме двери напоминала драгоценную мраморную статую – плавные линии, матовый отсвет тела, изящный профиль головы.

– Не смотри, – сказала она, почувствовав мой взгляд. – Я не натурщица!

Она что-то ещё говорила, но я ничего не слышал, потому что неожиданно – перелетел, мгновенно переместился, удар молнии, розовый туман, звон колокольчиков! – оказался рядом с ней, и Наташа, удивлённо вскинув руки, обняла меня, и прижалась, и что-то стала нащёптывать бессвязное, и поглаживала по спине успокаивающе и бережно – как закапризничавшего младенца, а я не хотел быть послушным, со мной что-то случилось: будто лопнуло стекло керосиновой лампы – и разлетелись тонкие осколки, и язычок пламени, разгораясь, опалил чистым и ясным огнём, и я почувствовал, что если захочу, то даже смогу взлететь: нечто выжгло во мне тяжесть, серость и скуку.

– Не надо, – шепнула Наташа. – Извини, пожалуйста, – её прохладная рука коснулась моей груди. – Просто так я не хочу, а на большее не рассчитываю...

И улыбнулась. Так улыбнулась, как могут только многие пережившие женщины – спокойно, с каким-то тайным знанием о суете сует. А может, это мне показалось?

Ничего я не ответил Наташе. Не мог! Вместо слов – хрипловатые, странные междометия, и дышать – трудно, воздуха не хватает как в высокогорье.

– Серёжа, милый...

Наверное, со стороны я выглядел довольно нелепо: спущенные плавки, белые ягодицы, полусогнутые колени, конвульсивные движения, и Наташа – согнутая, смятая, волосы касаются грязного, заплёванного пола; она отталкивала меня, но я только крепче прижимался, пока напряженные ладони, расслабившись, не разжались сами собой.

Наташа удержалась на ногах и, поправив волосы, намеренно равнодушно спросила:

– Всё?

Я кивнул.

– Слава Богу, свободна! – рассмеялась она. – Я поняла, что если и нужна тебе, то лишь иногда. Для разрядки.

– Глупости, – пробормотал я. – Не болтай всякую ерунду...

И что-то ещё говорил ей – вымученно и жалко. Господи, разве Ты не видел меня со стороны – лгущего, немилосердного, пакостного, и почему не поразил меня молнией?

– О, конечно, ты ко мне отлично относишься, – продолжала Наташа. – Как к товарищу по ремеслу, да? А я ведь, Серёжа, – женщина. И хочу, чтобы меня любили...

И тут я понял, что ничего не могу возразить. Нет, конечно, можно соврать, сделать вид, что возмущён и вообще не представляю себе жизни без этой женщины. Но врать я не хотел. Может быть, из чувства самосохранения? Поклянёшься в любви, когда на самом деле ничего не испытываешь, – и всё, пропал: твои уверения примут за чистую монету – значит, придётся продолжать отношения, лгать дальше, запутываться всё больше, а там, глядишь, и сам себе вдолбишь в голову, что лучшего и желать не надо, а извержение спермы – это и есть любовь, экстаз, амок! Но, в таком случае, чем от всего этого отличаются поллюции, мастурбация или возбуждение от эротических картинок?

– Теперь я знаю, что испытывает женщина, когда её насилюют, – тихо сказала Наташа и отвернулась.

– Господи, – почти простонал я. – Но ведь не мог же я быть бревно бревном, когда увидел тебя такую...

(И бешено завертелась, закружилась в мозгу мысль: какую такую? зачем ты опять врешь? твоё возбуждение было искусственным – признайся в этом сам себе, так ведь, так? ты что, не видел женских ляжек или груди – у натурщицы Лионеллы они, пожалуй, даже внушительней, эффектней, вспомни! Дурачок, всё это было нужно затем, чтобы не себе, а ей доказать: твой пан Готовченко послушно стоит по стойке смирно, у тебя с этим нет проблем, и ты, чтобы о тебе ни говорили, – отличный самец, а то, что у тебя нет постоянной самки – так это не потому, что ничего не можешь, а потому что... Нью-ню, скажи, почему? Признайся сам себе, выродец, что ты и сам не знаешь, чего хочешь. А впрочем, знаешь! Вспомни, как лежал в общаге, в 119-й комнате. Не помнишь? А-а, память отбило! Ирку забыл, что ли? Ну вот, покраснел, зафыркал, ручкой замахал... Стало быть, сюжет такой: Славка Жердев привёл Ирку и, не включая света, рухнул с ней на койку, и они перепихивались так, что вся комната тряслась. А ты делал вид, что ничего не видишь и не слышишь – дрыхнешь, как работяга после трудного дня. Но тебя охватило такое возбужденье, что, казалось, ты весь стал железным, и твой лучший дружок, напрягшись, сам собой разрядился, и ты, задыхаясь, понял, что ничего лучше у тебя никогда не было, и никто тебе не нужен, и ничего не требуется, если видишь, как парочка занимается любовью у тебя на глазах, и стонет как голубки, и всякие глупости наизобретывает – тебя устраивала роль соглядатай, вот и всё! Нет, постой, ещё не всё, слушай-слушай, дрянь такая: ты забывал о своём теле, ты весь был – зренье и звериный нюх, ты сам превращался в спаривающуюся пару, и мужчиной был, и женщиной – одновременно: Гермафродит, сам себя фাকাющий! Что, не так? Ах, тебе больше нравится андрогин? Хо-хо, Платона, блин, начитался! Сильно умный...)

–... такую волнительную, необыкновенно хорошенькую! – я закончил фразу и смахнул со лба капельку пота.

– Ладно, одевайся, герой-любовник! – сказала Наташа. – А впрочем, нет! Хочу поглядеть на тебя напоследок...

Её взгляд заскользил по мне, и я закрыл глаза, чтобы не видеть её побледневшего лица и чёрных, с желтой искоркой зрачков. Они меня пугали.

(Тебе неприятно, дрянь? Ты не понимаешь, зачем это ей нужно? Но ты ведь радуешься, что через минуту-другую всё кончится? Оденешься, выйдешь из этой хибары, подождёшь её, а потом – на автобус или электричку, полчаса езды, на вокзале: «Пока? Пока!» И всё! Ты, не утруждающий себя любовью, мучаться не станешь: свободен. Сво-бо-ден! И постарайся впредь не попадать в такие истории. Тебе даже лень внушить женищине, что она – самая лучшая и красивая, желанней её никого нет, пусть всего на одну ночку. Не открывай глаза, зажмурься сильнее. Ей нужно запомнить тебя во всех подробностях. Нет, она не развратница. А зачем это ей надо, ты никогда-никогда не поймёшь. Почему? Ведь ты ещё ни разу не почувствовал, что ты – неполон, непрочен, всего-навсего полчеловека, и семя твоё холодно и бесплодно! Что ты кривишься? А ну-ка, подлец, хотя бы приподними уголки своих мерзких губ, изобрази улыбку. Эта женищина, быть может, всё ещё неравнодушна к тебе, говнюку...)

В полном молчании мы оделись. Влажная рубашка облепила тело, брюки неприятно холодили ноги, но на солнце, которое снова нещадно палило, одежда быстро высохла. Так что к автобусной остановке мы добрались, можно сказать, в цивильном виде, и никто бы не подумал, что часа два назад эта парочка напоминала двух мокрых куриц.

– Пока! – сказала Наташа, когда автобус остановился в центре города у памятника Ленину.

– Пока! – я изобразил широкую улыбку.

Ильич, протянув руку вперёд, покровительственно улыбался и указывал мне путь. Я всем так и объяснял, когда требовалось растолковать, как найти мой дом: на него показывал сам Вождь. «Верной дорогой иди, товарищ!»

Открыв дверь, я почувствовал, что в квартире что-то изменилось. В прихожей валялись на полу какие-то бумажки. Откуда мусор? Когда я уходил, всё было чисто.

– Полтергейст! – сказал я сам себе, поднял эти клочки бумаги и пошёл на кухню. Очень хотелось чаю!

На кухне и в самом деле набезобразничал полтергейст. Кто-то разбросал пластиковые банки с крупой, дверцы шкафчиков – нараспашку, а всё, что аккуратненько стояло на полках, валялось на полу. Корейского фарфорового сервиза я и вовсе не увидел. Испарился, что ли?

Комната тоже выглядела не лучше. Кресла и диван сдвинуты, мольберт повален, картин ни на стене, ни на полу не было, и, самое главное, от фаянсовой вазы, в которой я хранил деньги, остались лишь яркие черепки. И не было магнитофона, дорогих альбомов Мане, Дали, Босха, Модильяни (о, какую кучу «деревянных» я на них ухлопал!).

Какой, к чёрту, полтергейст! Меня обворовали. Даже унесли рюмки из стекла под хрусталь, надо же!

Я набрал «02» и обо всём сообщил милиции. Видимо, голос у меня был слишком весёлым для такого прискорбного случая (шок, братцы, шок!), потому что на том конце провода спросили:

– А почему вы, собственно, такой радостный?

– Радуюсь, что не так богат. Представляю, что испытывают те, у кого воруют миллион!

– Ну-ну, – буркнул голос в трубке. – Весёлого мало. Кстати, у вас имущество застраховано?

– Да нет. Думал, что нечего страховать...

– Все вы так думаете, – вздохнула трубка. – Ладно, ждите наших сотрудников.

Они пришли часа через два – женщина и мужчина. Римма Петровна, высокая, худая, плоскогрудая, сама по себе невзрачная, но с такими живыми, быстрыми глазами, что раз увидев, уже трудно было их забыть, – так вот, эта Римма Петровна, походив по квартире, вынула из кармана сигарету, прикурила от спички и вздохнула:

– Следов, кажется, нет. Впрочем, Вася, глянь-ка вон там, на антресолях, где сервант...

Вася, который, видно, был на подхвате, встал на стул и что-то принялся изучать на матовой поверхности антресолей. А Римма Петровна, расположившись в кресле, раскрыла папку с бумагами и стала расспрашивать меня, что да как, и много ли унесли, и у кого ещё есть ключи от квартиры, и где я был до обеда – в общем, её интересовало слишком многое. И особенно одно: если ключи от квартиры я никому не доверяю, то, может, существуют дубликаты... Ах, они на месте?... ну тогда скажите, пожалуйста, вы всегда держите их на телефонной подставке?

– Да, обычно там, – подтвердил я.

– А кто-нибудь мог незаметно их взять и через некоторое время вернуть обратно?

– Не знаю. У меня ведь случайных людей не бывает, только хорошие знакомые...

– И всё-таки, если что-то припомните, обязательно позвоните мне, вот телефон.

– А почему вас это заинтересовало?

– Всё очень просто, – ответила Римма Петровна. – Смотрите: у этого ключа небольшое углубление, в нём – буквально микроскопические соринки.

– И как вы их только разглядели? – поразился я.

– Разглядела! – пыхнула сигаретой Римма Петровна. – Не первый случай. Похоже, воспользовались старым методом: сделали отпечаток ключа на мыле. Примитивно, но надёжно. По крайней мере, дверь не нужно вышибать...

Вася тем временем свою работу закончил и скромно стоял в сторонке.

– Ну что? Есть? – спросила Римма Петровна.

Вася утвердительно кивнул, и Римма Петровна сказала мне:

– Придётся нам и ваши пальчики снять, чтобы идентифицировать отпечатки.

И пока молчаливый Вася возился со мной, я думал о том, что эта парочка никак не напоминает настоящих сыщиков. У меня о них были свои представления. Ну, какая такая сыщица вот эта тётка в чёрной юбке с алыми маками и в зелёной кофте, пропахшей табаком. Римма Петровна курила дешёвые сигареты без фильтра. С самого начала она, видно, куда-то торопилась, потому что всё оглядывала мельком, ничем особо не интересуясь, разве что ключ хоть как-то привлёк её внимание. Ну, ещё она подобрала клочок бумажки, меньше трамвайного билета, на котором кто-то вывел черным карандашом цифры: 127, 9– 13.

Василий, сдаётся мне, вообще был стажёром. Он усердно ловил каждое слово Нины Петровны, эдакий добродушный увалень с застывшей в краях губ улыбкой.

Когда они удалились, я горестно так вздохнул: никого они не найдут, спишут дело в архив (или куда там у них, в милиции, положено отправлять дела?). Эх, пропали мои картины, вещички и денежки!

Впрочем, грабитель выбрал такие картины, которые я теперь постеснялся бы отнести даже в художественный салон на продажу: пейзажи, натюрморты с яблоками и цветами, дурашливые акварели под Маврину с подсолнухами и толстыми усатыми котами. Воришка, видно, уважал реалистичное искусство, его не прельстили полёты моих мыслей, воспоминания о фантастичных снах, неясные предчувствия и ощущения – это, в конце концов, и мне самому не всегда понятно. Но всегда ли понимает шмель, почему он летит сюда, а не туда? Конечная цель ясна – цветок, наполненный нектаром. Но путь к нему причудлив и не обязательно короток – витиеватые зигзаги, кружение, внезапное зависание в воздухе, вакхическая пляска над клумбой...

Из всех похищенных картин по-настоящему жалко было только одну. Ту, на которой я – махаон.

Ах, как легко и сладко качаться на упругих воздушных струнах; ветерок, забавляясь, несёт тебя то вверх, то вниз, и вдруг бросает на землю, но крылья помогают удержать равновесие – и ты свободно планируешь в прохладе утра, и отражаешься в каждой капельке росы: она вспыхивает твоим разноцветьем и пропитывается пылью. Густые, пахучие испарения земли, ароматы цветов и трав кружат голову, и я взрываю выше, к вершинам деревьев, и лениво ложусь на теплое крыло ветра – плыть бездумно, сливаться с синевой неба, мечтать попасть вон на то облачко, похожее на слона. Вдруг мелькает серая тень, и что-то тёмное, большое падает на меня сверху. Птица! Я успеваю увернуться, сложить крылья и мёртвым, сухим листом планирую в густые заросли таволги. Птица не сразу соображает, куда исчезла бабочка – только что вот тут плясала, перед самым носом, и вдруг куда-то пропала, только крутится в воздухе какой-то жухлый листок, а-а-а-а, обманул, хитрый махаон! Пронзительно, жалобно кричит птица, ринувшись за мной, но она уже не опасна: меня ей не найти в мягких, переплетённых стеблях, среди листьев, в бликах солнечных зайчиков, игре света и теней, и мне совсем-совсем не страшно, напротив – любопытно, что станет делать моя преследовательница? Покачиваясь на ветке осины, она недовольно пискнула, пощекотала себя под крылышком и, поозировавшись круглым жёлтым глазом, высмотрела какую-то неосторожную козявку. Выудив её из-под листьев, она с дерева не улетела – видно, надеялась, что махаон себя обнаружит неосторожным движением.

Но я неплохо чувствовал себя в листьях таволги, свикся с ними и никуда не хотел лететь – покой, прохлада, тишина, капельки прохладной росы, которую так приятно медленно пить, смакуя её терпкий, чуть приторный привкус. А вокруг мельтешила мозаика летнего дня, складываясь в нечто пестрое, блестящее, мерцающее тяжелым внутренним светом, но тут же всё и размывалось, текло, бледнело от жгучего солнечного света, и снова набегало облачко, легкая тень скользила по земле, возвращая всему объём и плоть...

«Летняя пастораль» – так я назвал эту картину, и на ней не было намека ни на какого махаона. Ну, не было – и всё тут! Лишь его ощущения. И это украли!

А махаонов я люблю за то, что их любила бабушка.

– Вот предстану пред Господом, – говорила она. – «Проси чего хочешь, – скажет он. – Но уважу только одну твою просьбу». Думаешь, я в рай попрошусь? Да полно-те! Разве ж я годна для компании угодников и страстотерпцев? «А сделай-ка меня большой, красивой бабочкой, – скажу я Господу. – Чтобы летать мне без забот и жить, безмозглой, как хочу – свободно, без насады. Полечу я тогда над полями, над лесами и лугами, захочу – высоко взлечу, захочу – низко опущусь, над самой землёй виться стану, и прилечу к родному дому, стукнусь в окошечко: «Здравствуйте, милые!»

Я смеялся бабушкиным выдумкам. А через три дня, как её похоронили, кто-то тихонечко стукнул в окно. Я поднял голову от учебника и увидел большую чёрную бабочку с красными лентами на крылышках. Она сидела на стекле и медленно обмахивалась этим траурным опахалом.

– Бабушка?!

Бабочка сложила крылья и тихо, умиротворенно просидела несколько минут без движения. Я внимательно рассмотрел её всю, и меня поразили глаза, большие и печальные, жившие как бы сами по себе, отдельно от мотылька.

Из тетрадей Марии Платоновны

«В цехе появился плакат: «Каждая лишняя пара обуви – это лишняя пуля по врагу». Нынешние зубоскалы, не сомневаюсь, обсмеяли бы его. Но Бог с ними, они не знают, что такое война...

Моя блочковая машинка азартно выдаёт: «Тах-тах-тах-тах!» Она, как пулемёт, отбивает восемь блочков с одной стороны заготовки, восемь – с другой. Через каждые пять минут я передаю на конвейер десять пар заготовок для бригады, которая крепит низ обуви. Она, кстати, так и называется: бригада крепления низа. Смешно звучит, да?

Наша фабрика шила из чёрной и жёлтой юфти ботинки для солдат. Работали мы напряженно, каждая минута на счету. И если во время воздушной тревоги поначалу уходили в бомбоубежище, то потом, когда налёты фашистов участились, девчонки отказывались бросать рабочие места. Вместо того, чтобы работать, только и знаешь, что бегаешь туда-сюда. А вот вам, фашистские гады, кукиш с маслом, будь что будет!

Моя сменщица Надя Стародубцева заболела и не пришла на работу. Мастер как-то виновато глянул на меня и неловко начал говорить:

– Товарищ Мария, знаю: вы уже устали... Двенадцать часов, ночная смена... Но, понимаете, мы должны полностью выдать заготовки в цех крепления... Мы план не выполним, из-за нас другие в отстающие попадут...

Я очень устала, мечтала только об одном: добраться до постели и повалиться спать. Но как только услышала, что план не выполним, почему-то подумала о Саше. Он без всякого отдыха воюют с проклятыми фрицами, а я – ишь, какая барыня, уморилась!

– Товарищ Лисак, – бодро сказала я, – конечно же, я никуда не уйду. Постараюсь заменить Надю...

И две недели, пока она болела, я работала в две смены без всяких выходных. Лисак носил мне еду из столовой, и пока я подкреплялась, он садился за машину, иначе мог образоваться завал заготовок.

Что такое нормальный сон, многие из моих товаров напрочь забыли. Мы кемарили минут двадцать, ну, может, полчаса, вскакивали и снова становились к станку.

А мама писала мне: «Доченька! Приезжай скорее, фашисты уже под Кривым Рогом, хочу поглядеть на тебя напоследок и умереть вместе...»

А я послала, помню, такой ответ: «Мама! Я – комсомолка и никогда не подчинюсь врагу. Лучше вы ко мне приезжайте. Нашу фабрику эвакуируют в Иркутск. Бросайте всё! Жду вас».

Фабрика спешно готовилась к эвакуации. Я тоже собралась ехать в Иркутск. Но меня оставили при фабричном штабе противовоздушной обороны.

Мы, пятеро девчат – бойцов ополчения, неотлучно дежурили на постах: кто на крыше, кто на территории предприятия, кто ещё где-то.

И вот как-то под утро наш командир, взглянув на часы, сказал:

– Четыре часа утра... Марусенька, мне нужно сбегать домой. Моих эвакуируют сегодня. Надо попрощаться. Через час буду. А вы не стесняйтесь, кушайте мой завтрак...

Выпив стакан чая, я вышла на крыльцо. Над городом стоял сплошной гул, слышались пулемётные очереди, проносились на бреющем полёте самолёты. Из-за угла выбежал комендант нашего общежития Васильев.

– Ты чего здесь? – спросил он.

– Жду командира, – ответила я. – Связь с городским штабом ПВО оборвалась. Что делать – не знаю...

– Какая тебе связь! – нервно крикнул Васильев. – Немцы у Краснополя! Фронт в пяти километрах от города. Через час взорвут большой мост...

Выкрикнув всё это, он побежал дальше. То тут, то там в придорожной пыли вздымались и тут же опадали юркие фонтанчики. Ф-ф-ють, ф-ф-ють! Вражеские самолёты заполонили, казалось, всё небо, черным-черно от них стало.

– Маша! Айда в общежитие! Возьмём вещи, документы. Скорей! А то не успеем из города выбраться: мост скоро взорвут.

Кто кричит? А, это мои соседки по комнате!

Все вместе забежали в свою родную, уютную обитель. Уж как мы её украшали, старались, чтобы уютно было, устали весь подоконник горшками с розами. Когда вышел приказ об эвакуации в Иркутск, мы их взяли и отнесли в комнату к ребятам. Но те после обеда получили повестки в военкомат, а нас, девчонок, оставили на казарменном положении. Ребята поднялись к нам, поставили цветы на подоконник: «До свидания, девушки! Война кончится – встретите нас букетами роз. Пусть растут!»

И вот остались розы совсем беспризорными...

Мы бежим, бежим с Октябрьской площади – от общежития к вокзалу. Там спасительный мост через Днепр. Успеть бы только до взрыва!

По дороге видим: вот лежат трамвайные вагоны, сошедшие с рельсов, звенят под ногами осколки витринных стёкол, выбитых ударной волной; вот валяется опрокинутый фургон, а рядом с ним лошадь...

Привокзальная площадь забита подводами, машинами, людьми. Всё окутано серой тревогой, дымом и гарью.

– Стой! Стой! – останавливает нас оклик часового.

Оказывается, надо пропустить на мост колонну машин с солдатами. Нас теснят всё дальше и дальше, к домам. Мои перепуганные подруженьки, ещё вчера готовые голыми руками задавить фашистскую гидру, чуть ли не в голос заревели. Ну, что делать? Я подошла к бойцам, сидевшим на подводах с боеприпасами:

– Товарищи бойцы! Я член комитета комсомола фабрики, инструктор ПВХО – командир санитарного звена, а эти девушки – мои бойцы. Помогите нам попасть на левый берег Днепра!

– Ну куда ж мы без вас! – рассмеялись солдаты. – Сидайте, девчата!

Оказавшись на том берегу, мы вскоре встретили фабричных ополченцев. Дорогие наши Иван Михайлович Лебедь, Абраша Цейтлин, Наум Друян и другие мужчины, как же мы вам радовались! А вы обступили нас, обнимали, расспрашивали, что происходит в городе. Девчонки сказали, что готовы приступить к своим обязанностям ополченцев: «Хотим остаться с вами!» Но тут Абраша Цейтлин, нахмурившись, изрёк:

– Отставить!

– Что такое?

– Товарищи девушки, посмотрите: у нас одна винтовка на пятерых, и одеты мы кто во что горазд, – ответил он. – Что вы будете тут делать? Пули ртом хватать? Идите-ка вы в тыл, в колхозы. Там нужны молодые и сильные руки – хлеба убирать, картошку рыть. Хлеб фронту нужен не меньше, чем оружие.

– Правильно Абраша говорит, – поддержали другие мужики. – Идите в колхозы! Это и будет ваша помощь фронту.

Распрощавшись с ополченцами, мы двинулись к станции Новомосковск. Над дорогой кружили фашистские бомбардировщики – как чёрное вороньё. Ушли зенитные пушки, стреляли пулемёты, лёгкими ястребами носились наши истребители, а мы перебежками продвигались вперёд. Сердце рвануло острой болью, когда, оглянувшись, я увидела город в дыму, грохоте, огне: рухнули цистерны с горючим, горела нефтебаза.

Только поздно вечером объявили посадку на поезд, но оторваться от бомбардировщиков удалось только за полночь. А до этого двигались так: пройдёт поезд метров сто-двести, тревога, все выбегают из вагонов и кидаются кто в кюветы, кто в придорожные кусты. Ужас!

Утром мы вышли на станции Перещепино. Вокруг стояла такая тишина, будто уши заткнуты ватой. Почему-то даже птиц не было слышно. Может, они почувствовали приближение войны и покинули эти места?

Галя Шляпкина и Оля Янчаковская были родом из этих мест, они нас сразу повели к элеватору: туда колхозники всей округи возят зерно – вот девчонки и подумали, что обязательно встретят своих земляков. Так и вышло.

Попрощавшись с подругами, Галя Винник, Оля Нестеренко и я сели на подводу и поехали в соседний колхоз. Там нам сразу нашли занятие: дали быков. Ну, уж если говорят «Упёрся, как бык», то это верно. Один бык нам попался своенравный: если увидит лужу, то хоть что с ним делай – непременно встанет в неё и пока не прохладится, с места не двинется. Замучил, проклятый!

У Гали, оказывается, был жених. Они чуть ли не с грудничкового возраста дружили. Звали его Ваня Первый. Потому что был ещё и Ваня Второй, его лучший друг. Мы всюду вместе ходили: и на работу, и на обходы села. У молодёжи было тогда такое задание: если, не дай Бог, обнаружим вражеский десант, надо срочно предупредить об этом население.

– А что, если десант и вправду вот сейчас с неба спустится? – наивно спросила я Ваню Второго.

– Сразу побежим в село, предупредим всех людей, – ответил он. – У одного парня есть ружьё отцово...

– Одно ружьё против кучи немцев? – горько улыбнулась я. – Ну, ты даёшь!

– Да мы с Ваней Первым голыми руками их передушим...

Милые, милые ребята!

Однажды Ваня Второй признался мне в любви. Господи, он ничего не замечал! Впрочем, даже подруга Галя не догадывалась, почему мне иногда становилось так дурно, что хоть ложись и помирай. И ещё мне всё время хотелось чего-нибудь сладкого. Ах, Саша, Саша! По радио передают сводки Информбюро о кровопролитных боях с большими потерями... «Жди меня... Целую... Саша». Где ты? Обрадуешься ли нашему будущему ребёнку?

Нет, не могу я писать о том, какие думы тогда передумала. До сих пор тяжело на сердце...

(«Нигде так не врут, как в любви и на войне»... Вспомнилась вдруг эта крылатая фраза. Но навряд ли начальник Генерального штаба сухопутных войск гитлеровской Германии Франц Гальдер врал в своих дневниках, когда в своих личных дневниках писал, например, такое: «В полосе группы армий «Юг» большая активность противника. Принято решение произвести налёты на русские аэродромы. По данным разведки, против группы армий «Юг» действует 1043 самолёта русских» – это на 21-й день войны. 19 ноября 1941 года он делает такую запись:»... никакого численного превосходства. Не только на земле, но и в воздухе». Почему фашисты получили достойный отпор лишь у стен столицы и на берегах Волги? В школе, помню, это объясняли нам превосходством фашистской армии, на которую работала вся Европа. Но мы тогда не знали, что немецкий генерал Гальдер, недоумевая, писал в своём дневнике: «Русская тактика наступления: трёхминутный огневой налёт, потом – пауза, после чего – атака пехоты с криком «ура» глубоко эшелонированными боевыми порядками (до 12 волн) без поддержки огнём тяжёлого оружия даже в тех случаях, когда атаки производились с дальних дистанций. Отсюда невероятно большие потери русских». И не знали мы, что в августе 1941 года Вильгельм Пик, будущий президент Германской Демократической Республики, представитель коммунистов Германии в исполкоме Коминтерна, в докладной записке Георгию Дмитрову отметил: «Красноармейцы не овладели новым оружием, и при всяких затруднениях возникают слухи, что старое оружие было лучше, а при создании нового было вредительство. Красноармейцы говорят – не является ли вредительством то, что их постоянно посылают в бой, чтобы уничтожить».

Ничего этого ты, бабушка, не знала, и прочитать об этом нигде не могла: гласность наступила, когда ты уже ушла: «там впереди не могила, а таинственной лестницы взлёт» – Анна Ахматова, Её ты, впрочем, тоже не знала, да и не нужна она была тебе. Но что же там на самом деле? Правда ли: «таинственной лестницы взлёт»? Или – тлен, гниение, распад молекул?

Боже, о чём это я?

А Россия, бабушка, непобедима ещё и по такой причине.»... даже если мы разобьём дюзину... дивизий, русские сформируют новую дюзину». И ещё: «С криком «ура» без подержки огнём...» Всё тот же Франц Гальдер. Но ты об этом и сама вскоре догадалась...)

Ничего я, конечно, Ване Второму не сказала. А он, как теперь говорят, «пользовался у женщин успехом». Однажды вечером возвращаюсь с работы, и вдруг из-за акации мне навстречу кидается женщина. «Тебя Марией зовут? – спросила и, когда я кивнула, быстро зачастила: Я – Марфуша... Я тебе вот что скажу... Не ходи с Иваном, он – мой... Я люблю его... Люблю...»

Марфуша обхватила ствол акации обеими руками, прижалась к нему лбом, плечи её затряслись:

– Ты чужая! Зачем он тебе? Даже если поженитесь, я вам жить вместе не дам... Уходи из села!

Я стояла ошеломлённая и не знала, что делать, а Марфуша, отскочив от дерева, схватила меня за плечи:

– Отдай мне его! Тошно мне одной жить... Если бы не ты, он давно бы моим стал...

Почему-то я подумала, что лучше умереть от печали и тоски, чем вот так выпрашивать у кого-то свой «кусочек счастья». Но вслух сказала совсем другое:

– Успокойся. Я его к своей юбке не привязывала. И уж тем более отбивать не собиралась.

– Ой, спасибочки, милая, ой, извиняй меня, дуру полоумную... Я сама не своя, как его увижу...

Конечно, я сказала Ване Второму об этой встрече:

– Ты Марфушу знаешь?

– Ах, вот почему ты весь вечер такая молчаливая. А я решил, что тебе нездоровится...

– Она тебя любит.

– Ну и что? Она сама за мной бежит... Да не нужна она мне! Муж у неё в армии, вот она и бесится...

– Да и ты тоже бесишься. Марфуша сказала, что ты с ней уже спал.

– Расскажу всё, как на исповеди. Привёз я ей после обеда соломы, пока сложили скирду – вечер наступил. Она позвала меня ужинать, силком заставила выпить водки. Я с устатку и уснул, где сидел. Утром глаза продрал, гляжу: чужая хата! За кепку, да в дверь, а она хохочет вслед: вот, говорит, теперь тебя все увидят, скажут, что ночевал у меня. Не верь тому, что она сказала...

– Нет, Иван, дыма без огня не бывает. Впрочем, мне всё равно. Ты в родном доме, а я – путник: сегодня пришла, завтра уйду. Не останусь я в вашем селе...

– Ну, почему? Моя мать сказала, что любовалась тобой: ты красивая, и в работе ладная, всё хорошо делаешь.

– Что это ты какой-то старорежимный? Мама сказала... Мама посоветовала...

– Она о хорошей невестке мечтает! Ты ей понравилась.

– А я замуж не собираюсь. У меня уже есть друг жизни. Он сейчас на фронте.

Иван помрачнел и почти сразу ушёл домой.

А утром, как только мы с Галей глаза открыли, её бабуся и говорит:

– О, сони-лежебоки! Ничего-то вы не знаете. Ходила я на огород, гляжу: за нашей речкой пушки стоят. Видать, ночью пришли наши солдаты.

– А где ж у вас речка, бабушка? – подначили мы её. – Сколько живем в вашем селе, не видели её!

– Да за огородом!

– Там лужа какая-то...

– Нет, речка, – упрямо мотнула головой бабуся. – В старину её звали Ориль, потом – Орилька, а сейчас обижают: жабе по колено – говорят...

– А разве вы не видите, что так и есть?

– Эх, вы! Проживёте с моё, поймёте: человек видит не только то, что теперича есть, но и то, что на этом месте было...

Сбегали мы с подругой к дальнотойным пушкам, у которых сидели солдаты.

– Ребята, где сейчас фронт проходит? – спросили мы их.

– Военная тайна!

– Нет, ну серьёзно ответьте. Немцы уже перешли Днепр?

– Шиш им! Граница фронта по Днепру проходит, а дальше мы их не пустим...

– Ребята, миленькие, если будете отступать, то возьмите нас с собой. Мы под немцами оставаться не хотим.

– Что за пораженческие настроения? Не стыдно вам? А ещё, наверно, комсомолки...

Мы, пристыженные, убежали домой.

Когда бойцы покинули «речку» Ориль – этого в селе никто не заметил. Наверное, ночью.

Весь следующий день меня то знобило, то в жар бросало. На ногах появились небольшие волдыри, которые, лопаясь, оставляли красные язвочки.

– У тебя, Мария, ящур, – сказала бабуля. – Это заразная болезнь. Давай-ка я намажу твои ноженьки дёгтем, а вечером напарим их в чистотеле...

После всех этих процедур на меня навалилась бессонница. Душно мне в хате, нечем дышать. Вот и вышла я во двор. Как не похожа серая, холодная ночь, окутанная тягостной тишиной, на те весёлые, чудные и радостные ночи, которые стояли ещё совсем недавно. Ни сверчок, ни поздняя птичка голоса не подают, и лист на деревьях замер, и, кажется, даже воздух оцепенел: стоит на месте, густой, как туман, и ни дуновенья ветерка! Тишина такая, что слышно, как бьётся сердце.

Где-то на другом конце села протяжно завывала собака, её поддержала другая, и вскоре над сонными хатами поднялся тяжкий и надсадный собачий вой.

Наш Шарик тоже завыл, подбежал ко мне, прижался к ногам, дрожит, и воет, и скулит.

Шарик, глупенький, ну чего ты боишься? Я тебя спрячу в дом. Смотри: нигде никого нет. А те собаки, наверно, учуяли волка. Вот, дуры, и воют. Ну, не бойся. Пойдём на дорогу, посмотрим, что в округе делается...

И тут собаки одна за другой перестали выть – как по команде. Село постепенно вырисовывалось из серой дымки. Наконец дохнуло прохладой. И где-то неподалёку громко пискнула какая-то пичуга.

Со взгорка я видела дальние хаты нашего села. Нигде ни огонька, ни людей. И вдруг вижу: от стены одного дома отделяется длинная фигура в белом и бросается в мою сторону. Что это: привидение или живой человек? А может, у меня поднялась температура и это бред? Или всё-таки привидение? Вон как собаки тосковали и выли, зная, чуяли его. А может, это моя смертушка идёт? Ну и пусть! Я не уйду, дождусь её... Всё тело горит, в ногах слабость...

Привидение приблизилось ко мне, и я увидела: это человек в белье. Он, не останавливаясь, прокричал:

– Немцы... немцы входят в село!

И побежал дальше. Под мышкой он держал темный узелок.

Вот он добежал до оврага и будто в землю стал вращаться, пока не скрылся в ней совсем.

– Эй, лунатик, опять не спала, всю ночь блукала?

Я и не слышала, как Галя подошла ко мне сзади. Она обняла меня за плечи, сладко зевнула и сказала:

- Ещё полчаса не грех поспать. Пойдём в хату...
- Ой, Галя, что делать будем? Немцы вошли в село!
- Тю-ю! Тебе ещё не то померещится, если не будешь нормально отдыхать.
- Ты ничего не слышишь?

С той стороны села, откуда прибежал мужчина-«привидение», явственно донеслось урчанье мотоцикла – и одного, и второго, и... Господи, сколько же их там?

Онемевшая Галя схватила меня за руку, дотащила до хаты, бросила у крыльца, заскочила в дом, откуда с причитаниями тут же выкатилась её бабуля, и мы все кинулись прятаться в щель (*т. е. погреб – прим. Авт.*) на огороде. За нами увязался и Шарик. Он сидел в щели тихо, словно понимал: враг идёт нешуточный, никого не пощадит.

Мотоциклисты промчались по главной улице села, оставив на заборах плакатики со стрелками. Мы с Галей вылезли из своего убежища, посрывали, где могли, эти бумажки. Да что толку! Зелёная свора уже заполняла село.

Из щели мы видели, как солдаты забегали во дворы, галдели, гоготали, тащили из хат всё съестное. У бабули вынули из печи хлеб, вычерпали из борща кусочки мяса...

Прокатился этот зелёный смерч по селу, и снова стало тихо. Дня три мы жили сами по себе, пока из бывшего сельсовета не пришел нарочный. Он объявил: «Все эвакуированные должны немедленно явиться в управу. За неисполнение приказа вы будете наказаны».

В управе сказали, что мы должны вернуться на прежнее место жительства. Мне выдали пропуск в моё родное село.

Шли мы втроем – Ксения, Дуня и я. Впрочем, вам всё равно, с кем я шла, правда? И вы, наверное, не поймёте тех угрызений совести, что мучили меня. Как это ни ужасно звучит, но я думала не о том, что смиренно выполняю приказ оккупантов. И не о том думала, чтобы к партизанам уйти или на фронт бежать. Нет, совсем о пустяшном пустяке я думала. О том, как посмотрю в глаза маме и сёстрам. Ведь рвалась уехать с заводским оборудованием на Восток и не хотела возвращаться в родное село, и вот – нате вам, привет-здравствуйте!

А тут ещё болезнь. Иду будто в полусне, на ватных ногах. Бинты присохли к язвам, гной проступает сквозь чулки. Вечером, когда заходим в какое-нибудь село на ночлег, боюсь попросить тёплой воды: узнают люди о моих болячках и выгонят из хаты. А так хотелось отмочить бинты и постирать их...

В дороге заболел правый глаз, на веке нарядился чирей. Пустила нас одна женщина на ночь, я стала развязывать бинт, чтобы промыть глаз, выронила тряпочку, а с ней выдернулся «стержень» чирея. О-о-о! Я как глянула в зеркало, как увидела в веке глубокое отверстие (показалось: глазное дно вижу!), так и сползла со стула на доливку (*глиняный пол – прим. Авт.*). И сознание потеряла.

Очнулась, слышу, как наша хозяйка говорит девочкам:

- Боже мой, если бы я знала, что в ней чёрная болезнь, не пустила б вас ночевать.

Я сказала сама себе: крепись, мол, Марья, дела твои неважные, уже и люди тебя пугаются, но ты делай вид, что не совсем ещё пропащая.

– Ну, что вы, тетя, испугались? – я сама поднялась с доливки и даже постаралась улыбнуться. – Никакая ни чёрная у меня болезнь. Чирей выскочил, только и всего. Неловко бинт дёрнула и вытащила его, проклятого. Знаете, как больно!

- А что ж ты такая бледная? И ноги у тебя перебинтованы...

– Весь день солнце голову пекло. Умаялась. Ноги горят, аж сердце щемит. А то, что перебинтована, так внимания не обращайтесь: упала на острые камни, поранилась...

Хозяйка поверила моей лжи. А утром – снова в путь. Иногда мне казалось, что бинты вросли в язвы, и любое неосторожное движение отзывалось зубной болью.

К обеду мы подошли к переправе. Полицай махнул в сторону белого домика:

– Ступайте к коменданту! Он вам новые пропуска выпишет...

Комендант, внимательно оглядев нас, ехидно прищурился:

– Как ни бежали вы от немцев, а они вас догнали и перегнали!

Дуня заплакала:

– Мы не бежали... Нас заставили угонять скот... Вот, в тапочках идём. А уже холодно...

«Что она несёт?» – подумала я. А комендант уже её спрашивает:

– Комсомолка?

– Нет, – лепечет Дуня. – Меня заставляли писать заявление и даже до работы не допускали, а я всё равно не захотела...

– Что ты врёшь? – не выдержала я. – Комсомол – свободный союз молодёжи, и силом туда никого не тянут...

– Молчать! – прикрикнул комендант. – Будешь говорить, когда тебя спросят!

Я не испугалась его. Наверное, потому, что всё ещё не могла осознать, что этот русский человек вовсе не играет роль коменданта – он по-настоящему служит новым хозяевам и ненавидит коммунистов.

– Ты тоже комсомолка? – спросил он Ксению.

– Нет!

– Тебя тоже заставляли вступать в комсомол?

– Нет, у нас никого не заставляли. Кто хотел, тот туда и вступал, – отвечала Ксения, смущённо уставившись в пол. – А я не хотела...

Меня злило, что этот мужчина, который ещё совсем недавно назывался товарищем, делал вид, будто не знает, как у нас принимают в комсомол. Всё он знал! Но вот напялил немецкую форму, называется господином и получил власть над людьми.

– Комсомолка? – спросил он у меня.

– Да.

– Тебя заставляли вступать в комсомол?

– Нет, я вступила туда сама, – ответила я, глядя ему прямо в глаза.

– Смелая, – он хмыкнул и неловко отвёл глаза в сторону. – Врать не умеешь, да?

– Да.

Он вздохнул и крикнул в коридор:

– Господин Нечуйбаба!

Вошёл молоденький полицай и услужливо ему поклонился.

– Принесите со склада две пары ботинок, – сказал ему комендант. – Надо вот этих двух девушек обуть. Вишь, в тапках на босу ногу ходят...

Пока Нечуйбаба бегал за ботинками, он выписал моим спутницам пропуска. И Дуня, и Ксения не знали, как и отблагодарить его. А он, разулыбавшись, принялся разглагольствовать:

– Красная армия разбита. Остатки бегут в Сибирь, но непобедимая немецкая армия настигнет их и там. Мы утопим всех жидобольшевиков в Волге. Советской власти больше никогда не будет. А вот эти ботинки остались на красных складах, – он кивнул на вошедшего в кабинет Нечуйбабу, который держал пару ботинок из жёлтой юфти.

Как я увидела эти ботинки, так будто застучала в мозгу моя блочковая машина: тах-тах-тах! Считай, каждую пару солдатских ботинок я держала в своих руках. И перед глазами возник тот плакат: «Каждая лишняя пара обуви – это лишняя пуля по врагу».

– Обувайтесь, идите домой, – сказал комендант девушкам. – Вы ещё послужите новому порядку!

Когда они ушли, он, откашлявшись, многозначительно сказал:

– А с тобой, гражданка, будет говорить немецкий комендант. Он прибудет через три дня, так что придётся тебе задержаться.

Нечуйбаба вывел меня из управы. Мы прошли несколько домов и завернули во двор, где стояла хата на две половины. Полицай постучал в окошко и что-то тихо прошептал на ухо выглянувшей женщины.

– Идите у хату! – сказала она мне. – Постель тут чистая, не брезгуйте. Располагайтесь, як у ридной хате...

– Тетя, мне бы теплой водички. Хочу умыться с дороги, – попросила я.

Хозяйка принесла таз с водой, угостила меня тарелкой каши и чаем. Увидев постиранные чулки и бинты, которые я развесила на печи, она покачала головой:

– Ой, бедовая дивчина! Далече ли тебе идти?

– Ещё сто двадцать километров...

– Совсем ног лишишься.

Она говорила на том русско-украинском диалекте, который использовался и в моём родном селе. Я ей об этом сказала, но женщина ничего не ответила и ушла на свою половину.

Я проснулась ночью. На хозяйкиной половине, видно, шла гулянка: громко и разом разговаривали женщины и мужчины, взвизгивала расстроенная гармошка, хриплый голос пытался вывести: «Утомленное солнце тихо с морем прощалось...»

Утром я долго не могла подняться. Сквозь тяжёлую дрёму слышала, как тихо зашла хозяйка, поставила на табурет у кровати крынку молока с куском белого хлеба. Постояла, громко вздохнула и вышла.

Спустя час, а может, и больше хозяйка снова скрипнула дверью:

– Ты что ж, дивчина, всё ляжишь? И не ела ещё! Вставай, вот вода, умойся...

В комнате было темно. Хозяйка почему-то не открывала ставни. Сквозь их щели пробивались столбики яркого света.

– Не могли бы вы, тетя, открыть ставни? – попросила я. – Душно мне...

– Ставни? – она глянула на меня острыми глазами, о чём-то подумала. – Ставни... Не велено... Но ладно, одну половину открою...

Видимо, она боялась, что я убегу и ей влетит от коменданта. Но куда бы я побежала днём, на виду у всего села?

Однако вечером она сама мне предложила:

– Уноси, девка, ноги. Я на ночь ставни не закрою. Куда хочешь, туда и беги. Как приедет немецкий комендант, так тебя и повесят. Он комсомолок не любит...

– Повесят? За что? – удивилась я. – Только за то, что не соврала в отличие от своих подруг?

А сама, между прочим, думаю: вот дёрнул же чёрт за язык... Геройство? Глупость! Так мне и надо, если голова дурная, – пусть вешают, гады окаянные! Только обидно, что ничего, ничего не сделала, чтобы хоть как-то отомстить фашистам. Жаль, что мама так ничего и не узнает обо мне...

– Что задумалась? – спросила хозяйка. – Или не веришь мне?

– Не могу я бежать, – отвечаю. – Мой паспорт у коменданта остался. Как я без него буду?

– Чёрт с ним, с паспортом. Если наши вернутся, скажешь: потеряла, – новый выпишут.

– Нет, не могу я оставить свой паспорт врагам. Они могут его использовать в своих коварных целях. И будет на мне всю жизнь лежать чёрное, несмываемое пятно позора.

– Тю-ю! А что, если они и тебя повесят, и твой паспорт используют?

– А я этого знать не буду. И не будет меня мучить совесть...

– О, це девка! Так говоришь, будто газету вслух читаешь, – неодобрительно покачала головой хозяйка. – Задурили тебе голову всей этой агитацией...

– Что?

– А ничего!

Хозяйка больше не заговаривала со мной о побеге. На третий день щелкнул ключ в замке, звякнула накладка, открылась дверь. Нечуйбаба молча поманил меня пальцем на улицу.

В управе сидел всё тот же русский комендант. Он с нескрываемым любопытством посмотрел на меня и хмуро спросил:

– Что, не удалось сбежать?

– Я себя виноватой не считаю, – ответила я.

– Ладно, – он взял со стола мой паспорт, покачал его за уголок, как бы взвешивая, и протянул мне:

– Возьми свой документ. Тебя и дома успеют на виселицу вздёрнуть. Вот пропуск на переправу. Иди!

Я уже была учёная и потому ничем не выдала своего волнения. Вот он, мой дорогой документ!

– Спасибо, до свиданья! – неторопливо, с достоинством сказала я. Полицай смотрел мне в спину. Я чувствовала его тяжелый, обжигающий взгляд, но так и не повернула головы. А самой хотелось поскорее вылететь из этой клетки, я боялась, что Нечуйбаба снова возьмёт меня за плечи и посадит под замок.

Когда я вышла к Днепру, то не узнала его. Он обмелел. Старик-лодочник переправил меня на песчаную косу, с которой до берега было проложено что-то вроде тротуара. Где вода доходит по щиколотки, где – чуть выше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.